

[Polaris]

Морис Ренар



НЕОБЫЧАЙНЫЕ
РАССКАЗЫ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

XXVII



Salamandra P.V.V.

Морис Ренар

НЕОБЫЧАЙНЫЕ РАССКАЗЫ

Salamandra P.V.V.

Ренар М.

Необычайные рассказы. Пер. с франц. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. – 217 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XXVII).

В сборник вошли новеллы и рассказы, раскрывающие многогранный талант Мориса Ренара (1875-1939).

Неоготические ужасы, палеофантастика, романтические легенды, неслыханные изобретения, язвительные фантазии... Все это стилистическое и тематическое разнообразие в полной мере присуще Морису Ренару, классику французской фантастической и научно-фантастической литературы.



НЕОБЫЧАЙНЫЕ РАССКАЗЫ

СВИДЕНИЕ

СВИДАНИЕ

Памяти Эдгара По

Господин прокурор!

До того, как вы прочтете это письмо, вам уже будет известно, где его нашли, следовательно и то, что я умер, вам тоже будет известно.

Действительно, я собираюсь покончить с собой.

Я надеюсь, что н и ч т о не заставит предположить, будто я не сам убил себя. Хочу этого всей душой. Надеюсь, что в комнате не будет беспорядка и что я буду банальным, очевидным самоубийцей. Я предполагаю, что так будет, но увы, я не уверен в этом, так как причина, обрекающая меня на смерть, может облечь ее беспорядком и тайной... причина, до того ужасная, что стоит умереть, лишь бы уйти от этого ужаса... Только для этого... Уверяю вас. Но это не единственная причина моей смерти. Я решил уничтожить себя для того, видите ли, чтобы тем самым уничтожить и ее... эту причину... Вы понимаете?.. Только... я не у в е р е н, что это мне удастся... Поэтому я решил, что, пожалуй, лучше будет, если я вам открою эту тайну. Это поможет вам разобраться в странностях (если они произойдут) и исключить подозрение в убийстве.

Главное, ради Бога, не обвиняйте никого. Я и без того причинил много зла. Не обвиняйте никого, если моя дверь окажется взломанной. Не обвиняйте никого, если найдете кого-нибудь — какое-нибудь странное с у щ е с т в о — около моего трупa. Не обвиняйте никого ни в чем, даже если окажется, что мой взгляд с ужасом направлен на взломанную дверь... Нет... ради Бога... не надо... ведь это невозможно, этого не может быть... ведь я же спасусь до этого, я убью себя до этого, даже в том случае, если бы, чтобы умереть вовремя, мне пришлось собственными руками вырвать свое сердце...

Теперь половина второго, — значит, это произойдет через три часа. Боже мой, всего каких-нибудь три часа жизни, а столько надо еще рассказать.

Впрочем, для того, чтобы сократить рассказ и не быть вынужденным описывать действующих лиц, вот вам две фотографических карточки: группа молодых людей и портрет молодой женщины.

Вглядитесь, пожалуйста, в первую. Не подумайте, что это группа сумасшедших — это ученики архитектора Монжени, выпуска 1896 года. Снимались они в воскресенье, на школьном дворе. Снимок производит странное впечатление, потому что каждый из участников старался выявить свойственные только ему черты характера особой позой, или держа в руках что-нибудь, что ярко характеризует его индивидуальность. Это очень пахнет «Латинским кварталом» и, по правде сказать, не особенно остроумно, но до чего грустно в то же время.

Обратите внимание на левую сторону снимка: там, во втором ряду, вы увидите молодого человека в очках с палитрой в руке и с короной из репы на голове. Это акварелист Гильом Дюпон-Ларден, имя которого вам, вероятно, неизвестно. Его украсили короной из репы, потому что «репа» и «акварель» синонимы на школьном языке, а Гильом только и мечтал, что о славе первого акварелиста, между тем как его родители требовали, чтобы он сделался архитектором; он подчинился, но работал лишь ровно настолько, чтобы получить диплом, а потом решил отдаться исключительно своему любимому занятию. Это мой лучший, единственный за всю жизнь друг. Познакомился я с ним у Монжени.

Теперь — обо мне. Я являюсь участником сцены гипнотизма, которую изображают трое в ряду под Дюпон-Ларденом. Но я не тот малыш, что сидит с закрытыми глазами, не бородатый толстяк, который делает вид, что усыпляет его пассами — я этот высокий брюнет с крючковатым носом. Оба они — Жюлио и Сальпетриер — были на самом деле медиумом и гипнотизером, и их опыты были главным номером наших праздничных развлечений. Я же — простой

любитель в области гипнотизма — был только помощником Сальпетриера. Да и помогал-то я ему нехотя, чем немало возмущался мой учитель, утверждая, что я с моими глазами, «такими же крючковатыми, как мой нос», мог бы сделаться первым гипнотизером в мире. В конце концов, ведь это и возможно... Но мне эта процедура всегда была неприятна: те, которых усыпляешь, так ужасно моргают, лицо их настолько теряет всякое выражение, что на меня это производит такое впечатление, точно их обезображивают, и я пугаюсь...

Перейдем ко второй карточке. Эту карточку, господин прокурор, я умоляю вас сжечь, как только вы ее рассмотрите. Если вы хоть немного дорожите какими-нибудь воспоминаниями прошлого, я не сомневаюсь, что вы исполните мою мольбу. С той самой минуты, как я ее украл, я ни на секунду не расставался с нею...

Боже мой, если бы предметы изнашивались от взглядов, если бы наши слезы могли растворять изображения, а целуи стирать их, то вы не увидели бы портрета Жиллеты... А вместо того... Моя реликвия не особенно хорошо выглядит... Можно подумать, что она пробыла целую ночь под дождем... Несчастный, ты имел возможность плакать ночи напролет над карточкой; чего ж тебе надо было еще? Ты обладал единственным неистощимым наслаждением и разрушил его собственными руками. Ты наслаждался неутолимым желанием и, удовлетворив его, лишился его навсегда. Разве ты не знал, откуда являются сожаление, раскаяние и угрызения совести. Глупец! Ведь эти старые сгнившие желания — остатки удовлетворения.

Да, это правда — я был глупцом — и совершил преступление, но взгляните на нее. Впрочем, вы видите только ее молчаливое и неподвижное изображение. Вы скажете: «Это красивая девушка; она похожа на шведку», и забудете ней. Но если бы вы знали!..

Я увидел ее в первый раз, вечером, в сумеречной комнате. Мне показалось, что ко мне из мрака приближается свет. Ко мне приближалась царица, блещущая красотой молодости, как утренняя заря весною. Открытый взгляд ее

длинных узких глаз был полон каким-то серым светом... Я был ослеплен... Голос Гильома вывел меня из оцепенения — я и не заметил, что он шел сзади. Он назвал ее имя и сказал, что это его невеста. Мне показалось, что земля ускользает у меня из под ног и звезды светят мне сквозь потолок. Я погиб. Боже мой, Жиллета, Жиллета! Я должен был бы уйти немедленно, но побоялся, чтобы мой неожиданный уход не внес неловкости в празднование помолвки. Я уговорил себя, что всем мой уход покажется подозрительным и что лучше отложить бегство до следующего дня. Было ли это искренне? Я сейчас спрашиваю себя, поступил ли я, оставаясь, как герой или как негодяй?

Как бы там ни было, я остался. И тогда они в своем ослеплении и неосторожности потребовали, чтобы я им построил дом. Гильом купил на бульваре Клиши, почти на углу Плас-Бланш, старый дом на снос. Это был их любимый квартал, и тут-то они решили поселиться, но с тем непременным условием, чтобы я выстроил им дом по своему плану. Вы знаете, каковы влюбленные друг в друга жених с невестой — они не допускают мысли, чтобы кто-нибудь мог им в чем-нибудь отказать. Да и как это сделать, почему?.. Ведь это значило бы выдать себя. Да и знаете, я сознаюсь: работать для нее, сделать для нее дом, как делают платье, создать декорацию для ее красоты, увековечить свое имя на том месте, где она будет жить — я воображал... я представлял себе, что таким образом я дополню ее жизнь по своему вкусу, соединю ее очарование с моим искусством, как бы свяжу частицу ее души с моей... Чепуха! Фантазии... Слова, слова, каламбурь... Пусть... Пусть... А между тем, я мечтал об этом доме, как влюбленный. Я мечтал создать не храм для моего божества, а объятия для моей возлюбленной. Я хотел, чтобы все гармонировало с ее северной красотой и чтобы в доме выражалась женственность ее души и всего ее существа. Вышина комнат должна была быть пропорциональна ее росту, а промежуток дверей должен был еще больше выявлять грацию ее фигуры. Стены комнат должны были быть окрашены в различные цвета, в зависимости от своего предназначения, но настолько под-

ходящие к ней, что художник, рисуя ее портрет, оставил бы их, как фон к нему. Я решил превзойти самого себя даже в мелочах: форма мебели должна была находиться в зависимости от ее поз, окна служили бы рамкой для ее красоты, если бы она вздумала выглянуть из них.

Моя задача была не из трудных, потому что Жиллета одухотворяла все своим присутствием и всюду вносила какой-то ей одной свойственный внутренний свет; люди, предметы, словом, все при ней преображалось и все отходило куда-то на задний план.

Да, моя задача была не из трудных, но что я построил? Пойдите, посмотрите. Пусть вам покажут дом. Что-то вроде норвежского, или датского, или русского домика. Что-то банальное и вычурное. Товарищи окрестили его «избой». Гм, гм! «Изба». Черт возьми! Ах, мечты, мечты!..

Но время проходит. Я слышу, как за моей спиной оно отсчитывает минуты по часам. Час мой близок. А вы еще ничего не знаете. Скорее...

Постройка избы была предлогом для частых встреч. Критика плана постройки, выбор материалов, разработка деталей, а потом присмотр за работой, все заставляло нас часто встречаться и создало между Жиллетой и мной некоторого рода близость, которая, при совместной работе, все увеличивалась. Нельзя сказать, чтобы эти обстоятельства способствовали моему излечению. Наоборот, моя любовь перешла в какое-то исступленное лихорадочное чувство. Когда постройка была окончена, я заметил, что бороться уже поздно, и оставалось или добиться взаимности, или умереть... К несчастью, я не решился умереть, не попытаться.

Тогда я спустился по ступеням низости до самого дна.

Отбросив мысль о бегстве, о котором я когда-то мечтал, я постарался поселиться как можно ближе к ним и нанял на бульваре Клиши вот эту квартиру, в нескольких шагах от их избы. Гильом и его жена страшно обрадовались этому. Было решено встречаться ежедневно. Для «милого ар-

хитектора» будет целый день накрыт прибор в доме, который он выстроил, в столовой, которую он устроил.

Они любили друг друга безумно... Разве это не должно было бы лишить меня надежды, скажите, разве это не должно было меня оттолкнуть?! А между тем их нежность только прищипывала мое желание, терзая сердце ревностью. Кроме того, я был убежден, что они полюбили друг друга по ошибке; я сам себе внушал дикие мысли: «Природа не создала их для взаимной любви. Они ошибаются. Они не должны любить друг друга. Какое они имеют право на это, если Жиллета создана для меня, для меня одного? Кто может быть ей ближе меня? Только вокруг моей шеи ее руки обовьются с идеальной точностью, только мои губы могут ей дать ощущение неземного поцелуя». Словом, по моему убеждению, только я мог быть наиболее подходящим мужем для Жиллеты, и право, мне казалось, что мы были двумя половинками одного целого. Какая глупость и как банально, не правда ли? Я уговаривал себя, что это так и есть, иначе я не испытывал бы к ней этой безумной страсти... Служит ли извинением для меня сила моего чувства? Может быть. Мне все равно... Судите сами... Во всяком случае, я любил ее исключительной любовью, единственной в мире, достойной увековеченья, как любовь Леандра к Геро, или Тристана к Изольде... как, вероятно, всякий любит свою подругу с тех пор, как Господь создал Адама и Еву...

Три часа. За моей спиной уже бьет три часа. Как быстро летит сегодня время, а я еще ничего не рассказал. Может показаться, что я нарочно отклоняюсь в сторону... Ну же...

В течение двух лет, господин прокурор, я был нахлебником у Дюпон-Ларденов и занимался исключительно тем, что старался оставаться как можно чаще наедине с Жиллетой. Удавалось это мне редко, потому что Гильом с утра до ночи работал в своей мастерской, а жена его почти не отходила от него. Окончив работу, они выходили всегда вместе... Вы понимаете, к каким хитростям мне приходи-

лось прибегать, чтобы незаметно для них самих разлучать их хоть изредка. Боже, какой ужас и какая гадость!..

Только один раз в неделю, если не происходило ничего экстраординарного, я мог надеяться застать ее в одиночестве. Это бывало по вторникам от пяти до семи. По этим дням Гильом читал лекции по истории искусства в каком-то институте. Понятно, что эти вторники были для меня воскресеньями, и я аккуратно посещал избу в это время. Иногда никого не заставлял — «Барыня вышла». Иногда какой-нибудь посетитель лишал меня очарования этой беседы с глазу на глаз. Но чаще всего все складывалось, как мне хотелось, потому что у Жиллеты не было никакого основания избегать моего общества, уходить из дому она не любила и почти никого не принимала в неприятный день.

Да, представьте себе, что в течение тридцати месяцев я жил настоящей жизнью всего лишь два часа в неделю, да и то не всегда. В течение тридцати месяцев я был смешным, отвратительным, но никем не подозреваемым поклонником госпожи Дюпон-Ларден. Ни она, ни Гильом, поглощенные собственным счастьем, ничего не подозревали. Конечно, если бы я был твердо уверен в ее равнодушии ко мне, я, может быть, сбросил бы с себя ярмо моей любви, но я до такой степени страстно хотел, чтобы она ответила на мое чувство, что мне стало казаться, будто так оно и есть на самом деле. А между тем, к стыду своему должен сознаться: несмотря ни на что, хотя поведение мое и не могло вызвать подозрения, она ни словом, ни жестом, никогда не подала мне повода признаться ей в моей страсти. И несмотря на это, я сделался жертвой болезненной фантазии, как и многие другие. Дошло до того, что всякое слово или движение я истолковывал в выгодном для себя смысле. Ничего не значащие жесты я считал хорошим предзнаменованием, на случайный пристальный взгляд смотрел, как на сообщничество, в каждой фразе искал скрытый смысл, простую вежливость объяснял исключительным вниманием. Я говорю вам, что галлюцинировал. И вот однаж-

ды, узнав, что они из-за чего-то повздорили, я решил воспользоваться моментом.

Как раз это случилось во вторник.

Я высказал все, что у меня было на душе.

Сначала она, как будто, не поняла меня, потом, сообщив, о чем идет речь, она попыталась превратить все в шутку; и, наконец, убедившись, что я говорю вполне серьезно, она была до такой степени поражена и огорчена и ответила мне, хотя в мягкой и сердечной форме, так категорически и определенно, что у меня не осталось даже намека на надежду.

Мираж рассеялся, за ним оказался глубокий мрак. Слова Жиллеты казались мне бредом. Тут же я решил застрелиться сегодня же, как только вернусь домой. Без надежды мне незачем было жить... Она этого не знала... Она не прочла этого в моих глазах... Она спокойно журила меня, как мать... Боже мой, мы спокойно сидели один против другого, со стороны это выглядело, как обыкновенный визит, даже говорила она почти без всякого волнения. Никто не мог бы догадаться, что она произносит мне смертный приговор. А я, господин прокурор, не мог оторвать от нее глаз, я смотрел на нее, вкладывая в мой взгляд всю силу моей души; ведь я видел ее в последний раз в жизни, и слушал как-то смутно; точно во сне, доносились до меня ее слова:

— Мой бедный друг, то, что вы сделали, нехорошо и некрасиво. А между тем, не вы одни виноваты... мне следовало догадаться... и Гильому тоже... Но как вы могли предположить?... О, это некрасиво, нехорошо с вашей стороны... Вы просто сошли с ума... Но это кончено, не правда ли?... Вы теперь образумитесь?... Ну конечно, как я подумаю, вас просто подменили. Гильом к вам так хорошо относится, и вы его любите. Какую же роль вы ему назначали во всей этой истории?... О чем вы думаете? Не смотрите на меня так... Ну, скажите, что было бы с Гильомом?

Я ответил нехотя, зная, что мой ответ ее возмутит:

— Гильом ничего бы никогда не узнал, значит и не страдал бы. Я клянусь вам (и я говорил правду, господин про-

курор), что охотно пожертвовал бы жизнью, чтобы избавить его от забот.

— Да вы — чудовище! Сколько цинизма, и как вы противоречите сами себе. Ради Бога, замолчите... Я не узнаю вас... Послушайте: я не хочу ни разрыва, ни ссоры. Нет, это слишком огорчило бы мужа, да и могло бы возбудить в нем подозрение. Я надеюсь, что вы найдете в себе достаточно силы воли, чтобы подавить свое чувство, не переставая бывать у нас. Забудьте обо всем, если вы уже не забыли. Что касается меня, то я даже не помню, о чем мы с вами говорили. Да, право, ничего не было. Я не слышала вашего объяснения в любви, а вы забыли о моей головомойке; мы оба забудем, что вы усомнились в моей верности. Разве это не лучший выход из создавшегося положения? Как вы думаете?

Ну, возьмите себя в руки, возобновим наши прежние отношения — я не стану сердиться, а вы не огорчайтесь... Только имейте в виду... если вы еще раз... то уж не будьте в претензии, я буду вынуждена все рассказать Гильому. Выслушать от вас дважды то же самое было бы недостойно его жены. Вы и сами того же мнения, не правда ли? Ну что же?.. Вы согласны?.. Это свято обещано?.. Отвечайте же...

Господи, как мне были жалки эти проекты будущего! Точно для меня было возможно какое-нибудь будущее... нет, будущее существовало только для других. Я смотрел на нее и не мог наглядеться. Она была для меня единственной светлой точкой в окружившем меня мраке. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами... в которых я читал волнение и любопытство... И я больше никогда не увижу их... Никогда...

— Да ну же, — сказала она снова, — вы меня пугаете. Вы меня не слушаете... Обещайте... Клянитесь... Дайте мне руку честно, по мужски. Так. Теперь клянитесь, что никогда больше не станете вспоминать о сегодняшней истории. Клянитесь мне, что постараетесь вылечиться, не страдать и — не быть непорядочным. А я, со своей стороны, даю вам слово...

Она остановилась, не окончив фразы... Произошло что-то необыкновенное. Голос ее за несколько минут до этого становился все тише, тише. Он сделался глубже, глуше, медленнее. Представьте себе звуки, исходящие из фонографа, когда завод кончается — вот такое было у меня впечатление. В то же время лицо ее теряло свое выражение и становилось похожим на лицо статуи. Веки, вздрогнув, сделались неподвижными, как бы окаменели, взгляд широко раскрытых глаз стал слишком пристальным, как будто глаза сделались стеклянными... И вот, говоря все медленнее и медленнее, Жиллета совсем умолкла — я слишком долго на нее смотрел — она уснула.

Я, положим, заметил это с самого начала. Как только ее руки прикоснулись к моим и взгляд ее начал подчиняться моему, я сейчас же это заметил, но с глубоким изумлением. Но я тут был ни при чем, нет, я не был виноват: раскройте любую книгу по гипнотизму и вы увидите, что нечего и думать усыпить кого-нибудь против его желания. Это был исключительный случай, граничивший с чудом. Я был потрясен. Но я немедленно учел всю пользу, которую мог извлечь из этого положения. Мрак, в который моя душа была погружена, осветился внезапным дьявольским светом, мне казалось, что победные трубы звучат в моих ушах. И вместо того, чтобы освободить ее из-под моего влияния, я, наоборот, старался усилить магнетический ток моего взгляда. И мысленно все настойчивее повторял:

— Спите... Спите... Спите... Спите...

И вот, господин прокурор, она сидела предо мной в полной каталепсии, холодная и бледная, как мраморное изображение, и спала.

И вся ее будущность была в моих руках.

Но нужно было на что-нибудь решиться сейчас же; кто-нибудь мог неожиданно войти, — и какая получилась бы трагикомедия. Я торопливо подыскивал формулу приказа, которая ясно запечатлелась бы в ее мозгу. Я хотел, чтобы приказ был короток, ясен и точен, легко запоминаем и, главное, чтобы в нем не было чего-нибудь, что могло бы

подать повод к недоразумению вследствие ложного толкования.

Через несколько минут мне показалось, что мне удалось составить нужную мне фразу, и я торопился внушить ее, потому что меня преследовал страх, чтобы меня не накрыли, а кроме того... Я уж говорил вам об этом: присутствие загипнотизированных пугает меня. Я боюсь их. Это таинственные собеседники... И, боясь ежеминутной помехи, наедине с моей пациенткой, которую общественное мнение назвало бы «жертвой», я испытывал двойной страх.

Я начал с традиционного вопроса:

— Жилетта. Вы спите?

Она ответила механически, без всякого выражения:

— Да.

— Будете ли вы мне повиноваться?

.....

— Я так хочу. Я требую этого. Будете ли вы повиноваться?

— Да...

— Хорошо. Запомните то, что я вам скажу: начиная с будущего вторника, вы станете приходить ко мне каждый вторник в пять часов и (чуть не рыдая, добавил я), станете моей влюбленной и восхищенной любовницей... В семь часов вы будете уходить и забудете о нашем свидании и наших отношениях до следующего вторника. Точно так же, проснувшись теперь, вы забудете, что я вас усыплял. Вы поняли?

— Да.

— Повторите.

Она повторила мое приказание, слово в слово, спокойным голосом, без выражения, автоматически, как школьница, отвечающая басню: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру». Отвратительная сцена. Я поторопился окончить ее.

Я разбудил ее. К счастью, все шло нормальным путем: кровь мало-помалу прилиwała к лицу, оно оживилось, вздрогнули веки, глаза потеряли пристальность своего

взгляда и положение тела сделалось менее напряженным; шепот переходил в речь, и звуки, ускоряясь и становясь выше по тембру, превратились в обычный молодой и свежий голос Жиллеты, который продолжал прерванную сеансом фразу:

— ... никогда не рассказывать этого Гильому. В противном случае, я вынуждена буду открыть ему глаза. Ну скажите же наконец, что вы обещаете. Да ну же.

— Ну хорошо, обещаю, — ответил я радостным тоном, хотя слезы душили меня. — Вы правы — я был сумасшедшим, но достаточно сознать это, чтобы не быть им больше. И вы, сударыня, так убедительно доказали мне это, что я перестал быть им как раз в ту минуту, как вы убедили меня в этом. Как приятно изредка пошутить, но теперь я излечен, и надолго. Да, черт возьми, выбросьте это из головы! Фи, какая скверная история! Не будем больше говорить о ней.

— Ах, — воскликнула Жиллета с торжеством. — Наконец-то вы все-таки оказались порядочным человеком, а я уж теряла надежду. В какой ужас вы меня повергли, мой друг, но теперь я успокоилась. Но, простите меня, — сказала она, берясь руками за голову. — Столько потрясений... Я прошу вашего разрешения покинуть вас... у меня внезапно разыгралась ужасная мигрень...

Всю следующую неделю я прожил в невероятно возбужденном состоянии. То меня охватывал безумный ужас, то сумасшедшая радость и надежды, доводившие меня до иступления. Придет ли она? Вот единственный вопрос, над которым я думал целых восемь дней. Придет ли она? С научной точки зрения это не подлежало сомнению, но владельцы избы так спокойно и радостно чувствовали себя, что заставили бы усомниться даже Бога. Моя уверенность временами совершенно испарялась. Случайный гипнотизер, что-то вроде ученика колдуна, я, как испорченный ребенок, пошутил над слишком великой, слишком святой, слишком таинственной вещью... И вот я был до того потрясен своим ужасным проступком, что не понимал даже естественных последствий его. А между тем, беззаботность Жиллеты как

раз и доказывала удачу моего предприятия, а я видел в ней доказательство противоположного и тщетно искал в глубине ее светлых глаз искру того чувства, которое я внушил ей. Я ничего особенного не замечал в них, так же как и Гильом своими прикрытыми стеклами для близоруких глазами мужа. Меня преследовало желание знать навверное. Я устроил себе такой же календарь, как школьники на время занятий и, так же как они вычеркивают каждый день, я вычеркивал каждый час. Наконец, наступил долгожданный вторник. Это было первого октября.

На всякий случай я превратил свою комнату в оранжевую, убрав ее самыми редкими цветами и растениями. И задолго до назначенного часа, я спустился под ворота, чтобы, если Жиллета придет, ей не пришлось разыскивать мою квартиру.

Я все меньше и меньше верил в ее приход и старался кое-как утешить себя, объясняя самому себе, насколько унижен был бы мой успех при таких условиях. Ведь даже если она придет, то кем она будет — притворщицей, манекеном, автоматом, заведенным мною самим. Какое удовольствие может доставить автомат?..

Но когда я увидел ее издали, увидел, как она идет, постукивая своими маленькими каблучками, кокетливо придерживая рукой шлейф юбки, порозовевшая, в ореоле своих золотистых волос, такая стройная, несмотря на меховое пальто, такая грациозная, несмотря на торопливую походку, и такая оживленная, то, поверьте, я больше не думал об автомате. Уверяю вас, что в ее походке не было ничего механического. Она подошла. Глаза ее улыбались. Это не были глаза сомнамбулы. Проходя мимо меня, она прошептала, закрывшись муфтой: «Войдите поскорей, какая неосторожность», и быстро пробежала к лестнице.

Она показалась мне весной, одетой по-зимнему.

Я догнал ее и поднялся вместе с ней, держа ее за руку. Запах ее духов наполнил всю лестницу, превращая ее в сад. На пороге квартиры Жиллета прижалась ко мне всем своим гибким телом и, глядя на меня влюбленными глаза-

ми, в поцелуе прошептала мне взволнованным от страсти голосом:

— Наконец-то, любовь моя! Наконец, наконец...

И зрачки ее глаз слегка косили от возбуждения.

Мы проскользнули в комнату, не выпуская друг друга из объятий.

Тут я останавливаюсь. Если бы я перебрал все сравнения, чтобы объяснить вам блаженство, испытанное мною, вы бы не узнали ничего нового. Время пролетело с быстротой молнии! Изредка только обрывки мысли, попытки анализа смущали мое блаженное состояние. Но всякий раз, когда я пытался разобраться в своих ощущениях, я должен был сознаться, что все ее поступки и речи были вполне естественными. К тому же, она испытывала ощущения, которые я не приказывал испытать. В этот день впервые ее молодое тело приобщилось к ранее неизведанным радостям. И в смущении она не знала, плакать ей или радоваться от наплыва новых чувств.

Но — до чего странно создано человеческое сердце, — вдруг все это показалось мне с л и ш к о м естественным. Да, черт возьми, комедия, она играла ее, п р и т в о р я я с ь спящей. О, язва, притворщица! Она выбрала лучшую роль и лучшую долю себе: сохранить за собой, в случае скандала, возможность объяснить все внушением. Да, господин прокурор, вот что я подумал! Не правда ли, любопытно? Вспомнив об ужасе моего преступления, я отказывался верить в возможность его и не хотел верить в свою победу, присутствуя при волшебном осуществлении ее.

Но Жиллета сама вернула меня к действительности. Вздвогнув вдруг, она сказала глухим голосом:

— Час настал. Я чувствую. Надо уходить.

Она поднялась. Я попытался удержать ее, схватив кусочек ленточки, но она сделала, чтобы освободиться, такое резкое движение, что ленточка осталась у меня в руках вместе с обрывком кружев. Это движение показалось мне настолько убедительным, что я уверовал.

Я помог ей одеться.

Она простилась со мной нежно и огорченно. Вся в слезах, она повторяла:

— Восемь дней! Не видется восемь дней! Как тяжело мне ждать так долго... Но что делать? Мы ничем не можем помочь. До свиданья...до вторника... до свиданья...

Ее горе ослабляло мою решимость. Эта неделя одиночества, которая мне предстояла, показалась мне бесконечной и туманной пустыней. Лестница, по которой спускалась Жиллета, казалась мне дорогой в ад, до того меня охватил смертельный ужас.

На последней ступеньке она оглянулась и повторила с грустной улыбкой:

— До вторника.

Потом, взглядевшись в мое расстроенное лицо, сказала:

— Бедный, дорогой мой... Час настал... Час настал... Прощай.

И исчезла.

Долго я еще дышал ароматом, оставшимся после нее. Я выдышал все, до последнего намека на духи. И настало время ее отсутствия... Отсутствие ужасное, когда Жиллета уходила из существования госпожи Дюпон-Ларден, когда та, которая любила меня, уходила от другой и исчезала в неизвестности.... еще дальше — нигде...

Тем не менее, я очень беспокоился за последствия нашего свидания. Я боялся, чтобы в мозгу Жиллеты не осталось какого-нибудь обрывка воспоминаний, и на следующий день я звонил у дверей избы. Меня приняли по обыкновению: ласково и без церемоний. Но Гильом был почему-то задумчив. «У жены измученное лицо и утомленные глаза, это не предвещает ничего хорошего. Я застал ее такой вчера, вернувшись с лекции». Госпожа Дюпон-Ларден тоже соглашалась, что чувствует себя утомленной и не по себе, и сама не знает, почему.

Оставшись на минуту с ней наедине, я воспользовался случаем, чтобы спросить у нее с шутковским видом:

— Что вы делали вчера от 5 до 7?

— Ну да, — продолжал я тем же тоном. — Я приходил к вам с визитом и не застал вас дома. Кто же лишил меня

удовольствия вас видеть? Портной, модистка или возлюбленный?

Она расхохоталась.

— Нахал. Вы слишком любопытны, — ответила она. — В наказание, я вам ничего не расскажу и вы ничего не узнаете.

Она сказала это очень веселым тоном, но вслед за этим как-то расстроилась, и так упорно о чем-то задумалась, что мне не удалось развлечь ее. Я понял, что она старается вспомнить, где она была от пяти до семи, и это ей не удается. После этого я, успокоенный, вернулся домой, сократив по возможности свой визит, потому что мне было неприятно сидеть в салоне у равнодушной и чуждой мне Жиллеты, которая, прочитав мне нотацию на прошлой неделе, унизила меня и смотрела на меня теперь, как на нахала, поставленного на место.

В следующий вторник моя возлюбленная, верная своей присяге, снова появилась из н и ч е г о и снова подарила меня моим еженедельным очаровательным блаженством.

Я посмотрел на часы... Без пяти четыре... Осталось жить всего тридцать пять минут. Ах, почему я не начал это письмо раньше?! Мне так хочется немного отдохнуть...

Итак... Ах, я не могу... не могу...

Итак, это происходило в начале октября. И ослепительные вторники чередовались с погруженными во тьму остальными днями недели.

Хозяева избы видели меня все реже и реже. Меня укоряли за эту холодность. Госпожа Дюпон-Ларден мило заметила мне, что моя сдержанность преувеличена. «Она уж давно забыла мою выходку, и ей было бы приятно по-прежнему поболтать с Гильомом и его старым приятелем». Как же! Я тоже охотно чаще виделся бы с нею, но влюбленной и страстной, а не безразличной. И я не мог простить себе, что не внушил ей простую и чистую любовь и решимость бежать со мной. И я проклинал страх, который вызывал во мне гипнотический сон и мешал мне снова усыпить Жиллету, чтобы продиктовать ей новое приказание.

Ах, эта боязнь вида загнипнотизированного! Систематическое посещение магнетизера не помогло мне избавиться от него. Я дрожал при мысли, что в один прекрасный день может произойти что-нибудь, что заставит меня снова усыпить эту женщину, чтобы внушить ей еще что-то. И когда мне случалось задумываться над этой психологической тайной, когда мысль моя блуждала среди этих странных явлений, которыми я имел дерзость воспользоваться, я приходил в ужас. Чтобы добиться результата, я привел в движение непонятный и неизвестный мне механизм и теперь я боялся, чтобы какое-нибудь тайное явление не вызвало неожиданного окончания или каких-нибудь непоправимых последствий.

На самом деле, явления, которые я вызвал, доказывали возможность других, о которых я ничего не знал. Ужас гипнотизма в непреложности того, что раз предписано. Повиновение загнипнотизированного приказу гипнотизера носит характер чего-то математически слепого, что производит на вас потрясающее впечатление. Несколько раз, побуждаемый извращенностью, я наслаждался зрелищем Жиллеты, превращенной в намагниченный предмет.

В один из вторников, в момент прощания я ей сказал:

— Останься со мной. Не уходи больше совсем.

И я стал у двери, загородив выход.

Лицо ее болезненно передернулось. Она ни слова не сказала, чтобы поколебать мое решение... Она даже не попыталась проскользнуть незаметно. Она просто прошла, как атлет, приобретя вдруг, неизвестно каким образом, непреодолимую силу. От толчка я упал.

В другой вторник, я — подготовившись к этому второму испытанию, — пришел к ней за четверть часа до пяти часов.

Я явился в качестве шаблонного визитера, мы говорили о пустяках. Вдруг Жиллета без всяких церемоний, прервав на полуслове наш разговор, позвала горничную.

— Дайте мне поскорее шляпу и кофточку, — сказала она ей и, повернувшись ко мне, добавила:

— Вы не будете на меня в претензии?.. У меня неотложное дело... Я должна уйти... До скорого свидания, не правда ли?.. Нет, не провожайте меня: я иду к черту на куличики.

Она и не подозревала, насколько верно указывает место, когда ушла от меня, чтобы пойти встретиться со мной же.

Иногда, господин прокурор, отдавая себе отчет в том, что ее создала моя собственная воля, я испытывал омерзительное ощущение раздвоения.

А в сущности, ведь другой любви нет. Всегда ведь один из двух любящих друг друга людей подчиняется другому, находится под его влиянием. И разве вам не кажется чудовищным, когда в подчинении мужчина, точно женщина крадет прерогативы мужа? Скажите, разве это не так?.. В конце концов, моя любовь к Жиллете была только перемещением на научную почву того, что происходит в природе. Я только воспроизвел искусственным путем явление природы, и мое преступление было, в сущности, лишь лабораторным опытом. Может быть, оно не было бы даже преступлением, если бы я произвел этот опыт с гуманитарной целью. Что же я сделал на самом-то деле? — опыт психологического лечения сывороткой. Я привил страсть, как прививают оспу или туберкулин. Ведь влюбленных, как и чахоточных, создает тот же Бог; ведь лечат же больных, вот я проделал опыт лечения, и очень удачный.

Да, удачный, черт возьми, как же!.. Я просто устроил пародию на лечение. Я бессмысленно подражал приемам. И скоро имел возможность убедиться, насколько неудачно был проделан мой опыт.

Здоровье Жиллеты пошатнулось. Медленно, но неуклонно оно ухудшалось с недели на неделю. Когда она приходила ко мне, она была все такой же милой и очаровательной, но дома, как я узнал от Гильома в один из своих редких визитов в избу, она проводила долгие часы, лежа на кушетке, и упорно о чем-то думала с выражением бесконечной и беспричинной скорби на лице. Гильом умолял меня приходить почаще, развлекать ее...

Я не исполнил его просьбы. Я сам был в смятении...

Как-то утром, перед Рождеством, пришел ко мне Гильом, чем невероятно напугал меня. Оказалось, что они были у знаменитого профессора Б... посоветоваться о здоровье Жиллеты.

Б... сказал определенно, что госпожа Дюпон-Ларден больна острой неврастенией.

Услышав это, я успокоился.

— Ну, что же, — сказал я, — от неврастении лечат и вылечивают.

— Знаю, знаю. Он прописал порошки, вино, впрыскивания, души. Это само собой разумеется, но поверишь ли ты, что Жиллета отказывается подчиниться самому важному предписанию.

— А в чем оно заключается?

— Ах, пустяки. Нужно уехать на два месяца, и поехать на солнце, к морю, в зеленое царство. Прогулка... отдых... развлечения.

— Да? И она не хочет?

— Она говорит, что не может, что ей нельзя уезжать из Парижа. И когда я у нее спросил, почему, она ответила, что сама не знает, почему, но это невозможно. И вот она снова погрузилась в свои думы, подперев голову рукой, вся в огне, точно отыскивая решение неразрешимой задачи... Доктор считает это упорство тоже признаком неврастении... Послушай, будь другом, помоги мне, умоляю тебя. Постараемся как-нибудь вдвоем уговорить ее... Она так часто считалась с твоим мнением... У ее матери есть вилла в окрестностях Сен-Рафаэля... Если Жиллета проведет там два месяца, она поправится, выздоровеет... В противном случае...

Он махнул рукой, отвернулся, высморкался и вдруг разрыдался, как ребенок.

— Доктор... снимает с себя всякую ответственность.

Я ответил дрожащим от волнения голосом:

— Можешь рассчитывать на мен, Гильом. Я ручаюсь тебе, что мы ее уговорим. Ты хорошо сделал, что обратился ко мне, только оставь меня наедине с ней. Ну, до свиданья, голубчик, ступай домой, я сейчас приду к вам.

Он ушел, вытирая слезы и протирая очки, а я постарался привести свои мысли в порядок.

Ясно было, что Жиллета не уедет без моего приказа. Но, так как от этого путешествия зависела ее жизнь, надо было заставить ее уехать, чего бы это мне ни стоило. Следовательно, я должен был усыпить ее и подарить ей если не свободу, то хоть несколько недель отпуска. Мне легко будет проделать это у себя в будущий вторник. В моем распоряжении было всего три дня для уговоров в присутствии мужа, чтобы внезапное согласие не показалось подозрительным.

Я исполнил свой план в точности.

Тридцать первого декабря, собрав все свое мужество, я загипнотизировал ее.

Совість внушала мне поступить благородно — сказать ей:

— Все кончено. Не возвращайся больше сюда. Я возвращаю тебе твою независимость.

Вот в чем заключалось лучшее лекарство — в этих волшебных словах. Но я не произнес их. Я слишком сильно любил ее. Моя страсть была для меня важнее ее счастья. И вот в какой-то зрело обдуманной, строго определенной форме я продиктовал ей мое решение, в котором, между прочим, постарался исправить недостатки предыдущего приказа:

«Не приходи ко мне девять вторников подряд. В десятый вторник в пять часов ты снова придешь сюда. И с этого времени мы будем встречаться по вторникам, как прежде, только, если я случайно буду вблизи тебя в назначенный час, не ищи меня в другом месте, а будь со мной, где бы я ни был».

В то же день, вечером, она сказала Гильому, что, раз он так настаивает на этой поездке, она готова поехать к матери на два месяца. Гильом был в восторге. Он не знал, как меня благодарить... Только одно его огорчало: он не мог уехать из Парижа раньше, чем через две недели, так как был занят приготовлениями к ежегодной выставке своих картин.

Но, в конце концов, решили не откладывать поездки: Жиллета уедет сейчас же, а Гильом приедет к ней в Сен-Рафаэль после.

Первого января, в девять часов, госпожа Дюпон-Ларден уехала с ниццским экспрессом.

Гильом впервые расставался со своей женой. Он очень огорчился и, опасаясь тоски одиноких вечеров, просил меня обедать у него ежедневно. Еще более огорченный разлукой, чем он, я охотно согласился. Хоть через него буду иметь сведения о Жиллете и смогу говорить о ней. Это поможет мне переживать бесконечно тянущиеся дни и особенно вторники — эти девять вторников, которые мало-помалу приближались из бездны будущего, вторники тоски и воздержания, которые были для меня теперь такими же пустыми и мрачными, как и остальные дни недели, казавшиеся темной ночью.

Первый вторник приходился седьмого января.

Седьмое января 1908... Я думал, что он будет одним из тяжелых, конечно, дней, но далеко не трагичным, который приходится оплакивать всю жизнь... А между тем, он оказался ужасным днем, господин прокурор... И я знаю, что не один человек будет рыдать в течение всей своей жизни седьмого января...

Около 10 часов вечера я собирался уходить, прощаясь с Гильомом. Утром он получил прелестное, как улыбка, письмо от Жиллеты и отпраздновал шампанским «выздоровление», как он говорил, «своей милой больной».

Это маленькое пиршество рассеяло мой сплин, усилило его оптимизм, и мы обменивались довольно игривыми замечаниями, когда ему подали телеграмму.

Он распечатал ее и вдруг, побледнев, чуть не упав, опустился на стул.... В то же время я почувствовал, что мое сердце перестало биться — точно кровь превратилась в нем в лед...

Гильом тяжело дышал.

— Случилось несчастье? — спросил я сдавленным голосом.

Он еле-еле мог выговорить, раскачиваясь на стуле:

— Ужасное... несчастье... жена... страшно... больна... Требуют, чтобы я выехал... туда... немедленно... немедленно...

И вдруг, вскочив на ноги, он добавил:

— Она умерла. Я уверен в этом. Я знаю, что значат эти телеграммы, в которых вас стараются подготовить к несчастью. «Приезжайте немедленно», — всегда значит, что вы приедете слишком поздно... Ну, я еду.

Теперь я понял, что спокойствие, с которым он произнес эти слова, было ужаснее отчаяния в слез. Но мне стоило такого труда сдерживать свое волнение, что я не мог это заметить тогда же и не понял, насколько его большое и чистое страдание было выше моего ужаса.

Но, может быть, он ошибается? Почему в телеграмме должен был быть непременно скрытый смысл? Я старался убедить его и себя в этом. Напрасные усилия. Гильом уехал ночью, твердо уверенный, что он не ошибается, а я остался наедине с самим собой и с сознанием, что я убийца.

Всю ночь напролет я бегал по комнате. Сколько я ни уговаривал себя, я не мог ни на чем остановиться, мог только строить всякие предположения. Но все время меня преследовала одна и та же мысль: несчастье произошло как раз в день наших свиданий и — как я мог судить по времени отсылки телеграммы — к концу дня, то есть в те часы, которые она привыкла проводить со мной.

Может быть, я плохо изгладил из ее памяти мое приказание приходить ко мне от пяти до семи? В чем дело? Умерла ли она, или речь шла о мозговых явлениях? Может быть, она попала под экипаж или под поезд в состоянии сомнамбулизма?

Я опровергал сам все свои предположения. Я тысячу раз перебирал все за и все против. В моем разгоряченном мозгу совесть боролась с эгоизмом. Я мучился невероятно.

И так тянулась вся ночь.

С первыми лучами солнца я немного успокоился. Сомнение уступило место надежде. Мне стало казаться, что шансы на плохой и хороший исход одинаковы. К вечеру я уж совсем не допускал возможности, что Жиллета умерла.

В 9 часов я получил телеграмму:

В с е к о н ч е н о .

Г и л ь о м .

Без объяснений, без подробностей, без утешений. «Все кончено». Я не знал ни часа, ни обстоятельств, при которых это случилось, и не смел телеграфировать, чтобы спросить, как это произошло.

Тогда началась мука последней ночи. И на этот раз солнце дважды взошло, не принося покоя моей душе. Я неустанно искал ответа на вопрос: к а к э т о с л у ч и л о с ь. Совесть меня мучила, и в воспоминаниях я не мог найти никакого объяснения. Я бесконечно повторял свое приказание Жиллете, я разбирал эти слова со всевозможных точек зрения; все же найти разгадки этой тайны не мог. Но с каждым часом мне становилось яснее, что во всем происшедшем виноват только я один. Каким образом я навлек на нее это несчастье, я никак не мог решить, но, что я был виновником ее смерти, в этом после трех мучительных бессонных суток я больше не сомневался. «Ты убил ее», — кричал я себе, господин прокурор. «Ты... ты...». И с той минуты я не могу ра-зуверить себя в этом.

Гильом описал мне последние минуты Жиллеты, стоя у ее гроба, который он привез в Париж. Он рассказал мне о внезапном молниеносном припадке аппендицита, который потребовал немедленной операции; произвести ее пришлось при самых нежелательных условиях, смерть наступила под хлороформом, в два часа ночи. Все, что он рассказал мне, должно было меня успокоить, облегчить мою совесть. И все-таки я не мог отделаться от сознания, что убил ее я. Все это я узнал слишком поздно. Мною уже овладела навязчивая идея, и я мысленно повторял: «Ты ее убил».

Да нет же, не я... Я неповинен в ее смерти.

«Как же, рассказывай... ведь в глубине души ты знаешь, что убил ее ты, говорю тебе, что ты... Боже мой...»

...Тише...

«Ты ее...»

...Молчи...

«...убил...»

Боже, какое проклятье!

.....

После ее смерти я впервые подумал о самоубийстве, выходя с кладбища на Монмартре. Душевное состояние Гильома помешало мне привести эту мысль в исполнение немедленно. Бросить его в таком состоянии казалось мне дезертирством. Я понял, что моя обязанность его утешить, и постарался исполнить ее до своего исчезновения.

Его отчаяние было близко к умопомешательству. Первоначальное спокойствие уступило место возмущению. Он проклинал любовь, судьбу, все на свете. Он хотел бы уверовать в Бога, чтобы сделать Его ответственным за то, что произошло, и кощунствовать.

Мне все-таки удалось уговорить Гильома снова взяться за карандаши и краски, заставить его рисовать с утра до ночи, и скоро на всех страницах альбома появились портреты Жиллеты. Я заставлял его работать до изнеможения. Он снова начал читать лекции по вторникам. Сгорбленный, пожелтевший, подозрительно оглядывающийся, молчаливый, он сам на себя был не похож; все же, он кое-как жил, а почему знать, что случилось бы без меня... Если не жизнью, то хоть тем, что не сошел с ума, он обязан мне.

Но до чего трудно пришлось мне с ним вначале! Да и кладбище было недалеко от избы, ничего не стоило сбегать туда. Пройдя по Плас Бланш, вдоль по бульвару и сейчас же направо на авеню Рашель — вот и ворота кладбища. Три дня подряд я находил его там в небольшом склепе семьи Дюпон-Ларденов. В последний раз я застал его отодвинувшим камень и собирающимся спуститься по лестнице... Я уговорил его приходить не чаще раза в неделю и оставить камень в покое.

У него хватило силы воли сдержать слово. Это было хорошим признаком. К тому же я заметил, что настроение его все улучшается и ассистент ему больше не нужен.

Моя роль кончилась раньше, чем я ожидал. Тем не менее, господин прокурор, как ни короток был этот промежуток времени, все же месяца оказалось достаточно, чтобы привыкнуть угрызениям совести. Безумный траур, бесконечная грусть делали мне жизнь хуже смерти, но покончить с этим существованием у меня не хватало мужества. Я

потерял способность к какому-либо усилию. Работа архитектора опротивела мне. Всякий труд мне сделался не по силам. Мне не хотелось выходить из комнаты и хотелось, чтобы комната была обита черным, как катафалк. Я запрещал открывать окна. Я не выходил, пока голод не выгонял меня, или Гильом, удивленный моим поведением, а может быть, и заподозривший что-то, не решался зайти за мной. Я ненавидел все, что мешало мне с тоскою вспоминать о Жиллете. Радостное настроение других меня возмущало. Смех прохожих выводил меня из себя. Шум карнавала, заполнивший все улицы, доводил меня до бешенства.

Я пытался уйти от этого шума, обив комнаты матрацами и коврами. Напрасный труд. Радостный гул веселящейся толпы глухо доносился ко мне через стены и комнаты соседей. Пенье, взрывы хохота, свист прорывались острыми звуками; а по увеличившемуся шуму и музыке бродячего оркестра я понял, что процессия идет по моей улице.

Чувствуя себя не в силах вынести это, я решил пойти поискать в другом, более спокойном квартале, покоя и тишины. Я вышел на улицу.

Процессия направлялась к Плас Пигаль. Я бросился в противоположную сторону.

Толпа запрудила весь бульвар. Народное веселье поддерживалось щедрым употреблением конфетти. Его яростно бросали во все разинутые рты, но оно прерывало только скабрезные шутки либо дикие крики, потому что толпа была подобна стаду: она мычала и ржала от удовольствия. Бумажные шары с дикими изображениями хлопали по изумленным лицам, нитки серпантина обвивались вокруг шеи, на секунду объединяли группу незнакомых друг другу людей. Несколько пошло одетых масок старались обратить на себя всеобщее внимание глупыми шутками. О, стадо ослов! Глупцы и идиоты, до такой степени разнузданные, что могут в е с е л и т ь с я в этой юдоли слез. Веселье... Какой ужас!.. В е с е л ь е... Какой безумный ужас!

Я пошел быстрее.

Утром прошел дождь, но день кончился прекрасным зимним вечером, в котором уже чувствовалась коварная ласка

приближающейся весны. Заходящее солнце, отражаясь в лужичках воды, блестело радугой драгоценных камней. Какой-то паяц прыгал по этим лужам, стараясь обрызгать разодетых по праздничному горожан. Когда я отвернулся, чтобы избежать этой участи, кто-то бросил мне прямо в лицо горсть конфетти. Я рассердился и выругался. Видевшие это захохотали.

Я пошел еще скорее.

Этот бульвар был невыносим. Сплошь занятый кабачками с пошлыми названиями — «Небо», «Ад», «Паук», «Черный кот», украшенный глупыми и безобразными статуями по фасаду домов, — он был действительно достойной по своему безобразию и пошлости рамой для этого нищенского маскарада. Я почти решил сбежать к Гильому, но боязнь, что и туда донесутся отзвуки карнавала, заставила меня отказаться от этой мысли.

Все меня раздражало. Помещение «Мулен Руж» в двух шагах от святого места успокоения усопших казалось мне позорящим Париж. Проходя мимо авеню Рашель, я увидел, что ворота кладбища открыты. Не зайти ли? Но зачем? Чтобы опять слышать, стоя у могилы Жиллеты, этот пошлый шум пошлой толпы? Эта мысль заставила меня снова броситься опрометью дальше.

Между тем, толпа мало-помалу становилась гуще. Мне все труднее было пробираться вперед. Я чувствовал, что ее р а д о с т ь враждебна моему отчаянию, и медленность ее движения противится быстроте моего шага. Я вынужден был пойти медленнее. На меня оглядывались с любопытством. И на Плас Клиши давка и, особенно, р а д о с т ь толпы до того усилились, что я принужден был вернуться. Пустив в ход локти и толкаясь, я пробирался назад под дождем конфетти, серпантина и ругательств.

Нечего было делать. Лучше всего было, по-видимому, направиться домой. Так я и сделал.

Тут толпа была реже. Зеваки и любопытные вели себя сдержаннее. Но, к моему неудовольствию, количество маскированных увеличилось. По-видимому, с приближением ночи, они смелее показывались на улицу в своих отрешках.

Одетые черт знает во что, накрашенные свеклой, напудренные мукой, в ужасном виде, но все же радостные, они вылезали из всех переулков на этот оживленный маскарадным весельем бульвар. Они появлялись отовсюду, даже с авеню Рашель, которая вела на кладбище. Да, представьте себе, даже на этой улице жили люди, которые хотели позабавиться и требовали своей доли в е с е л ь я. Сумасшедшие!.. Два клоуна вышли оттуда: они были одеты в желтые, пополам с синим, люстриновые костюмы, наклеили фальшивые носы, — и в е с е л о орали модную шансонетку. Следом за ними шла улыбающаяся женщина, переодетая рабочим, с наклеенными усами и трубкой в зубах. А сзади нее шла маска, не поддающаяся определению. Трудно было разобрать, мужчина это или женщина, одалиска или римлянин, была ли она одета в грязную тогу или это был потерявший первоначальный цвет бурнус. Не было возможности ответить на эти вопросы. Но что маска эта была пьяна, не подлежало сомнению, потому что она шла все время, держась за стены домов. Должно быть, это было пари: вышли веселиться самые подонки, лишь бы сделать мне гадость. Маска шла, неприятно стуча ногами по мокрому асфальту; тащившийся по грязи пеплум, наверное, прикрывал затасканные сабо. Но грим прикрывал все у этой отвратительной маски, и кроме того, этот скот был пьян... О... это в е с е л ь е, это в е с е л ь е. И повсюду...

Я был возмущен и постарался обогнать этого пьяницу, отвернувшись от него. Эта убогая маска казалась мне воплощением всеобщего в е с е л ь я этого маскарада подонков; это убеждение до того въелось в меня, что мне стало невыносимо слышать шаги этого пьяницы, идущего за мной. Грусть всего мира заполнила мою душу. Я до боли жаждал одиночества. Медленный бой часов показался мне погребальным звоном.

Наконец, я дошел до своего дома, куда я стремился, как в убежище.

Радуюсь, что избавился от сутолоки, я медленно поднимался по лестнице; поднявшись на первую площадку, я услышал за собой шум шагов, из-за которого бросился чуть

не бегом дальше наверх... «сабо», спотыкаясь, отстукивали шаги в подъезде, а ковер, лежавший на лестнице, вероятно, заглушал их дальнейшее шествие.

Ах, черт возьми, эта мерзкая маска поднималась по лестнице! Меня преследовало в е с е л ь е... В е с е л ь е...

Перепрыгивая через ступеньки, я добежал до своей двери и, лихорадочно ища свой ключ, не находил его, потому что из-за безумного желания найти его поскорее руки мои тряслись. А я ни за что не хотел видеть проходящее мимо моей двери веселье, со взрывами хохота и наглым подмигиванием, издаваемым надо мной.

Наконец я нашел ключ и, почувствовав себя в безопасности, победителем, вздохнул свободнее.

— Черт бы побрал этот карнавальный вторник*, — пробормотал я. — Ах, да, сегодня вторник... Прошло уже... Как грустно, именно сегодня она должна была...

И вдруг, господин прокурор, у меня закружилась голова, зуб на зуб не попадал и кости стали отбивать пляску смерти... я стоял у открытой двери, и не было сил войти... Я слышал, как поднимается маска... маска, вышедшая из авеню Рашель... Я слышал, как она спотыкалась, нащупывая стену в полумраке... М о г и л ь н ы й х о л о д п р е д ш е с т в о в а л е й...

Она появилась, цепляясь за перила лестницы... На ней был... не... бурнус... и не... тога... это был... саван... Это существо не было мужчиной и не было женщиной, и оно вовсе не было пьяно... ко мне приближалось... меня коснулось нечто туманное и бесформенное...

Оно обвело меня холодом и сыростью... Я услышал какой-то хрип вместо голоса:

— Пойдем, пойдем скорее. Нам осталось мало времени — мне так трудно было выбраться... Я опоздала... Идем, мой любимый... Ах, как я страдаю!.. Но я люблю тебя больше своих страданий... Идем же...

* Mardi-gras — кульминационный день маскарада.

Ошеломленный, я не был в силах сопротивляться, и моя покойная любовница втащила меня в комнату.

Из-за опущенных занавесей в ней было совершенно темно. И в мозгу у меня тоже наступала ночь. Мне казалось, что я засыпаю. Отвратительное объятие разбудило меня сразу. Я вздрогнул и оттолкнул влюбленный труп с такой силой, что он упал вместе с опрокинутым стулом. Рука моя ощупью машинально нашла выключатель, я повернул его и зажег электричество.

Она уже поднялась и оправляла складки своего савана. При свете это было что-то невероятное... было от чего сойти с ума... умереть на месте... это было отвратительное чудо, которое надо было во что бы то ни стало, немедленно прекратить...

Но как это сделать?.. Какому тайному закону гипнотизма я был обязан тем, что мое приказание исполнялось и после смерти загипнотизированного? Мне было не до разрешения загадок. В моем расстроенном мозгу все время мелькала одна мысль: снова усыпить этот труп и приказать ему вернуться к себе в могилу и оставаться там до скончания веков... Да, но вопрос в том, поддастся ли он внушению? Удастся ли гипнотизировать мертвеца? Можно ли усыплять тех, которые больше не бодрствуют? Как заставить заснуть спящего?.. А я? Найду ли я в себе достаточно силы воли, чтобы пристально глядеть в эти ужасные глазные впадины теперь, если я боялся смотреть на них, когда они были для меня звездочками с неба...

Я взял себя в руки.

— Послушайте, Жиллета, — сказал я. (Боже, как эти ласкательные имена не подходят к усопшим, и как дико звучало это имя!). — Жиллета... Сядьте... Как долго я не видался с вами... Нет... ради Создателя... не смотрите в зеркало. Я умоляю вас об этом. Я запрещаю вам...

Раздался ее глухой хрип:

— Как отвратительно сознание смерти... так страдать...

— Пощади, пощади... — заклинал я ее.

— Почему ты просишь пощады? Разве ты в чем-нибудь виноват?.. Я люблю тебя, и это самое главное. Подойди ко мне, моя радость. Я должна быть твоей «возлюбленной и восхищенной любовницей»...

Она страстно декламировала эти давно внушенные ей мною слова и, оправляя кокетливым жестом свой саван, тянулась ко мне...

— Жиллета, — пробормотал я, отодвигаясь до самой стены. — Я сказал вам... что... хочу... мне хочется... поглядеть на вас... Сядьте в это кресло...

Она покорно села. С улицы донесся резкий звук трубы, на которой пытались что-то сыграть.

Я попытался загипнотизировать ее, но мне не удавалось сосредоточиться, и мой взгляд все отклонялся в сторону. Впрочем, на расстоянии и не прикасаясь к пациенту, трудно чего-нибудь добиться. Неужели придется сесть так близко, чтобы касаться ее руками и коленями?

В ту минуту, когда я, наконец, решился подвергнуться этому ужасному мучению, произошло событие, которое повергло меня еще глубже в пучину ужаса — кто-то звал меня из прихожей:

— Что случилось, почему все двери настежь?.. И какой отвратительный запах... Ну, где же ты?..

Боже мой, Гильом!.. Как вам это нравится, Гильом пришел ко мне... Да, ведь сегодня праздник карнавала; не смотря на то, что был вторник, лекций не было...

С быстротою молнии я представил себе мысленно, что произойдет: я заранее рисовал себе дьявольскую картину, как вдовец накроет на месте преступления свою покойную жену на свидании с любовником. Я дошел до пароксизма страха.

Перепуганный труп побежал, спотыкаясь, прятаться за занавес кровати, а я быстро потушил электричество и побежал навстречу к Гильому. Схватив его под руку, я с такой быстротой спустился с ним по лестнице, что он только на улице снова обрел дар речи. Я не отвечал на его вопросы. Крепко уцепившись за него, я молча тащил его сквозь толпу все дальше и дальше, сам не знаю куда. Мы почти бежа-

ли. Каждую секунду, оглядываясь через плечо, я осматривал тех, кто шел за нами, но, вспомнив свое приказание загипнотизированной Жиллете: «будь со мной, где бы я ни был», я вскочил в первый свободный автомобиль.

Он повез нас в Монруж, потом в Венсен, потом еще куда-то. Мы изъездили все пригороды Парижа... Я все время молчал.

После семи часов я наконец согласился вернуться на Монмартр и, избавившись от настойчивых расспросов Гильома при помощи какой-то басни, которую я тут же сочинил (он притворился, что поверил ей), я довез его к нему.

Как я и предполагал, моя комната оказалась пустой.

На всякий случай, я заглянул за занавеси кровати... Там никого не оказалось. Все-таки на ковре остались мокрые и грязные следы моего отвратительного посетителя. Но в воздухе носились следы трупного запаха, и я вынужден был надолго открыть окно, чтобы совсем изгнать остатки Жиллеты.

После этого я стал приводить свои мысли в порядок.

И вот уж восемь дней, как я ломаю себе голову над этим:

«Мы будем встречаться по вторникам, как прежде», и «будь со мной, где бы я ни был»...

Значит, я осужден на свидания с выходцем с того света... Итак, в течение долгих лет труп будет посещать меня каждые восемь дней, причем с каждой неделей он будет все отвратительнее. Сначала ко мне будет приходить то, что пришло сегодня, потом он станет разлагаться, затем будет являться скелет, и, в конце концов, горсть праха... Но до горсти пройдет много-много лет... может быть, горсти праха придется навещать меня уже в могиле... е с л и, к о н е ч н о, п р и з р а к п е р е ж и в е т м е н я.

Я мог бы уехать очень далеко... В Америку... Никто не мог бы доехать туда в д в а ч а с а. О, ради милосердного Бога, разве не следует попытаться сделать невозможное, чтобы уничтожить то, что я сотворил? Неужели я допущу эту профанацию смерти, не постаравшись исправить то, что я наделал... И наконец, никто не обратил внимания на Жиллету, потому что во время карнавала попадают вся-

кие маски... но как ей удастся пройти незамеченной в другое время?

Надо прекратить все это. Да. Но, если даже допустить возможность нового усыпления, я не буду в силах это сделать. Я просто-напросто боюсь. И знаете, я не хочу больше видеть ее, слышать ее хриплый голос, поц... Нет, нет, ни за что на свете!..

Сегодня вторник, сейчас она должна прийти.

Вот почему я собираюсь покончить с собой. Я это сделаю, потому что это единственное средство сделаться слепым и глухим, лишиться осязания, обоняния, вкуса, памяти и всего, что дает нам возможность сознавать, соображать и, главное, помнить...

Я решил покончить с собой — выслушайте меня внимательно — еще, главным образом, потому, что твердо надеюсь уничтожить вместе с самим собой тот кусочек моей воли, который я вдохнул в тело Жиллеты, и который, пока я жив, в назначенные дни управляет ею и кощунственно заменяет ей душу.

Я так думаю, но не уверен в этом, потому что тут я сталкиваюсь с областью неизвестного науке. И все-таки я покончу с собой в половине пятого, раньше, чем она там оживет, чем поднимет надгробный кам...

Боже мой! Кто там звонит?.. у моей двери... Так громко... Так долго...

Стучат, точно ломают дверь...

Боже мой, как темно! Который час? Четыре? Всего четыре часа. А кажется, точно... Царь Небесный! Они не идут! Часы остановились в четыре часа. А сколько я написал с тех пор!..

Стучат еще сильнее. Сейчас взломают двери. Боже мой!.. Жиллета, погодите минуточку. Я сейчас открою... Скорее... где мой револьвер... Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ДЮПОНА

КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ДЮПОНА

Посвящается Г. Д. Даврей

Не надо выводить ошибочных заключений: описывая то, что случилось, я отнюдь не собираюсь написать ученый труд. Я человек простой, коммерсант, Виктор Дюпон, совладелец фирмы Броун, Дюпон и К^о; швейные машины и велосипеды; магазин помещается на бульваре Севастополя, завод — в Левалуа-Перре.

Случай привел меня быть свидетелем событий, заслуживающих внимания — по моему мнению — и я хочу изложить их, как сумею.

Я упоминаю об этом во избежание того, чтобы избранные умы могли упрекнуть мои скромные заметки в претенциозности, а обыденные люди — заподозрить меня в недоступных для меня познаниях.

Первые, вероятно, пожалеют о моем невежестве: ученый сумел бы изложить факты точнее и лучше; вторые, как люди мало сведущие и привыкшие к легкому чтению, наоборот, наверное, огорчатся из-за недостатка своих познаний и из-за употребления некоторых технических выражений, которые мне удалось запомнить.

Первым я отвечу: я таков, каким меня сделала жизнь, и у меня нет достаточно свободного времени, чтобы я мог посвятить годы на образование для изложения истории одного семестра, тем более, что этот труд будет, наверное, единственным за всю мою жизнь.

А что касается других, то я просто-напросто обращаю их внимание на то, что невозможно употреблять обыкновенные слова для обозначения необычных предметов, а кроме того, что не я выбирал те слова, которыми мне приходилось пользоваться.

I.

25-го марта 1900 года, утром, я одевался в своей маленькой холостой квартире, помещающейся в третьем этаже, над нашим магазином, на бульваре Севастополя.

По двадцатилетней привычке я собирался провести этот воскресный день в обществе Броуна, где-нибудь за городом.

Мой компаньон Броун — англичанин. Его имя хорошо выглядит на вывеске, а сам он очень ценен, как глава коммерческого предприятия. Я занимаюсь главным образом продажей, а специальность Броуна — заведывание фабрикой. Должен сознаться, что без него дела, наверное, пришли бы в упадок, так как я терпеть не могу швейных машин и велосипедов, среди которых проходит вся моя жизнь. Но Броун часто пробирает меня, и я очень считаюсь с его советами, так как в глубине души чувствую, насколько они разумны. Он дает их мне на все случаи моей жизни; тем, что я слегка разминаю свои мускулы еженедельно, даже тем, что я теперь пишу эти строки — я, в сущности, обязан тоже ему. Мне кажется, что в глубине души он относится ко мне немного свысока. Когда мы прогуливаемся за городом, он попрекает меня тем, что я поэт... Но мне кажется, что я не заслуживаю этого названия; я просто люблю природу и больше ничего; ну а он в извилистых очертаниях тропинок видит только графические линии, фантастические диаграммы, а так как это свойство далеко не поэтических натур, а я полная ему противоположность, то он и называет меня поэтом.

Его квартирка помещается рядом с моей. Он тоже холостяк.

Этим утром я не торопился закончить свой туалет, потому что мне нужно было поговорить со своим соседом о неожиданной для него вещи, и я никак не мог решить вопроса, как он отнесется к этой новости.

Наконец я был готов, и пришлось решиться.

Броун, сидя на высокой табуретке за рисовальным столом, курил папиросу. На столе были в беспорядке разбросаны чертежи, планы, большие листы голубой бумаги, линейки, угольники...

— Здравствуйте, — сказал он мне. — Хорошо ли вы спали?.. Я открыл систему перемены скоростей...

— Ага! — перебил я его бессмысленно.

Я чувствовал, что не могу сказать ему, в чем дело. Этот чертов человек был холоден, как лед. Где бы он ни был, постоянно кажется, будто вокруг него протестантский храм.

Я добавил:

— Это превосходно; вы изумительный компаньон, Броун... нет, положительно — это великолепно!..

— Да что с вами такое происходит, Дюпон? У вас необычайно странное выражение лица. Разве мы остаемся дома сегодня?.. Где ваша шляпа?

— Ну, ничего не поделаешь, — сказал я, взяв себя в руки. — Надо вам рассказать... Я очень устал, Броун!

— Сядьте.

— Не в этом дело!.. Я чувствую себя утомленным не со вчерашнего дня...

— Вы слишком много работаете?

— Да. А кроме того, моя работа надоела мне, поэтому она еще больше утомляет меня. И это главная причина моего изнеможения. Я устал больше душевно, чем физически. С конца прошлого года это положение усиливается со дня на день. Это начинает меня беспокоить, Броун, не скрою этого от вас.

— Сплин, — сказал он. — Необходимо путешествие. Меня удивляет, как вы, здоровый, краснощекий малый, можете заболеть сплином, но все же я вижу, что это так.

В его ответе я ухватился за слово, на которое не надеялся:

— Путешествие, Броун? Что вы? А как же дела? Подумайте, вспомните, ведь за двадцать лет мне не приходилось оставлять дело больше, чем на день.

— Это правда, — подтвердил он.

Я торопливо продолжал:

— Конечно, я знаю, что кассир Вернейль — очень способный малый. Несомненно, что он в курсе дел не меньше меня, но все-таки в конце концов...

— Неужели?

— О, он очень способный и дельный человек...

— В таком случае, уезжайте, сделайте путешествие вокруг чего-нибудь, ну, всего света, если у вас хватит денег, или вокруг Франции; но вы должны непременно объехать кругом чего-нибудь — это самое действительное средство против сплина.

— Да, видите ли... я вам очень благодарен, Броун, за то, что вы так любезно соглашаетесь взять на себя полное заведывание всеми делами фирмы... но дело в том... вы, право, очень добры, Броун... дело в том, что я получил приглашение от одного из моих друзей провести у него некоторое время.

Мне показалось, что в глазах моего компаньона промелькнул иронический огонек.

— Вот... сегодня утром я получил... прочтите это письмо, Броун...

Он пробежал его, а я мысленно повторил про себя очаровательное содержание письма:

«Милый друг!

В своем ответе на мое декабрьское письмо, вы признались в своей любви к деревенской жизни. Почему бы вам не приехать пожить ею в Орм?

Я рассчитываю на вас и не допускаю отказа.

До скорого свидания.

Р. де Гамбертен.

P. S. Само собой разумеется, что я прошу вас провести у меня сезон или два, если это возможно. Скоро солнце станет нестерпимым, так что приезжайте поскорей, даже сейчас. Жду вас!»

Броун посмотрел на меня, лукаво улыбаясь.

— Я думаю, что ваш сплин... он начался в декабре. Вы больны от того, что увидели лекарство, больше ничего... Но это вовсе не причина для того, чтобы не лечиться... Кто это такой, господин де Гамбертен?

— Друг детства. Мы потеряли друг друга из виду, когда кончили гимназию. Он был очень богат и стал путешествовать для собственного удовольствия, пока почти что не обеднел. Теперь он живет в старом родовом замке, в Орме. Понятия не имею, что он там делает! Должно быть, ничего. Ему взбрело на ум написать мне, чтобы чувствовать себя менее одиноким там... и вот...

— Ступайте укладывать свои сундуки, Дюпон; я счастлив, что могу вам быть полезным. Вы безусловно имеете право на шестимесячный отпуск, раз в двадцать лет. Вы уедете сегодня же!

— Да нет же, Броун, я этого вовсе не хочу; работа будет слишком тяжким бременем для одного; из-за всемирной выставки торговля будет, наверное, значительнее, чем раньше; это будет легкомыслием...

— Ни слова больше! Вопрос решен!—сказал он довольно резко.

А все-таки, в тот момент, я был искренен. Мне кажется, что ни разу в жизни я еще не чувствовал себя в таком неопределенном положении, как тогда. Эта внезапная свобода произвела на меня впечатление пропасти, неожиданно разверзшейся у моих ног, и я стоял на пороге своего шестимесячного отпуска, точно у порога пустыни.

Я схватил руки Броуна, должно быть, с очень комичным видом, потому что он расхохотался и сказал, выталкивая меня за дверь:

— Да ну же, не будьте поэтом, толстый Манфред!

Я бегал по своей маленькой квартирке и не мог приняться за дело. Все предметы домашнего обихода смотрели на меня очень неодобрительно, особенно часы — круглым глазом своего циферблата, и барометр в стиле Людовика XV — своим еще бóльшим зрачком... Ведь они привыкли к то-

му, чтобы я ежедневно смотрел на них перед своим уходом в магазин.

На часах, стоявших под стеклянным колпаком, было девять часов. Стрелка барометра указывала на «переменную» погоду, но вдруг она задрожала и перешла на «превосходную» погоду. Это было хорошим предзнаменованием. Недоушевленные предметы великодушно подговаривали меня уехать.

Тут вошла женщина, приходившая ежедневно приводить мою квартиру в порядок.

Присутствие этого низшего существа вернуло меня к моему решению:

— Госпожа Гренье, я уезжаю. Вернусь через шесть месяцев. Завтра — понедельник — покупка необходимых вещей; послезавтра — вторник — отъезд. Вы будете так добры присматривать за квартирой во время моего отсутствия, не правда ли?

— Хорошо, сударь! А курицы?

— Боже мой, курицы! Результат моего бюрократического образа жизни. Курицы, которых домовладелец разрешает мне держать на террасе! Мои двадцать пять куриц, разных, самых редких пород!

Как я мог решиться бросить их на произвол судьбы? Разве этот человек с холодным сердцем — Броун, мог приглядывать за ними, как следует? Англичане не умеют баловать... И все-таки, я это сделал. — Когда я об этом думаю, то чувствую влияние таинственных сил. Не подлежит никакому сомнению, что меня притягивал в Орм какой-то неотразимый магнит. Да, несомненно, что какая-то неведомая сила предназначила мое перо для изложения этого события, и я немало удивляюсь этому, потому что, если мое перо привычно к всевозможным сложениям, то из-за описательного стиля оно мучительно скрипит под моими усилиями.

Во вторник, в восемь часов утра, я сидел в вагоне с перспективой не выходить из него до самого вечера, разве только для того, чтобы пересест в другой, при перемене направления.

Тут я чувствую себя немного стесненным... Профессиональный писатель вышел бы из этого затруднения, наверное, очень легко, но я, право, не знаю, как мне быть и поэтому предпочитаю откровенно сказать, в чем дело. Вот в чем.

Я не хочу, чтобы узнали ту местность, куда я ехал. Если все узнают, что там произошло, то, по моему глубокому убеждению, это принесет большой вред этой местности: путешественники перестанут посещать ее, а может случиться, что и местные жители, которые до сих пор ничего не знают о том, что там произошло — может быть, сбегут оттуда.

Я мог бы откопать за границей какую-нибудь местность, сходную по условиям жизни с этой глухой провинцией, и переместить туда моих действующих лиц, предупредив читателей об этом для того, чтобы никому не приносить вреда. Точно также я мог бы, сохранив настоящие названия местности и действующих лиц, заявить, что этот рассказ — выдумка. Но я не привык к этим лукавым тонкостям и считаю позорным для всякого быть замешанным в обвинении, хотя бы оно и было всеми признано фиктивным.

Поэтому я скрою название местности и приложу все усилия для того, чтобы ничто не указало даже приблизительно на него и, если бы по вынужденным описаниям оказалось, что некоторые, не связанные между собой частности, соединенные воедино, могут встретиться только в одной определенной местности, я умоляю читателя не искать и не соединять воедино этих частных. Если он не хочет послушаться меня в интересах ближних, пусть он не делает этого — в своих собственных, потому что, можете мне поверить на слово, страшно подумать, что существуют настоящая земля, настоящие деревья, настоящие скалы, которые присутствовали при этой истине, похожей на басню, и что где-то существует... впрочем, я увлекся.

Итак, я сидел в вагоне, все еще не оправившийся от этой внезапной перемены всех моих привычек и изумленный не меньше, чем головастик, который внезапно почувствовал себя лягушкой.

Независимость опьяняла меня, как горный воздух; но я не мог еще наслаждаться ею вполне; в моем мозгу кишело еще слишком много цифр; я чувствовал, как они мало-помалу изглаживаются и медленно улетучиваются из моего сознания. Вскоре я целиком отдался радости настоящего.

Перед моими глазами проносились пейзажи начинающей цвести природы. Я не мог удержаться от мысли, какой она будет засохшей и желтой во время моего возвращения. Но эта мысль только промелькнула, так как я решил наслаждаться и не хотел портить ни одной минуты моего шестимесячного отпуска. Я снова стал внимательно смотреть в окно и любоваться постепенным бегом видов — головокружительным вблизи и более медленным — вдали. Но все же, когда мимо меня пронеслось и исчезло из вида много километров моей милой Франции, мною начала овладевать тоска из-за вынужденного ничегонеделания. Не с кем было поговорить. Вдобавок, на свое несчастье я забыл купить газеты и журналы, а курьерский поезд до полудня нигде не останавливался.

Как развлечение, в моем распоряжении была только моя корреспонденция, полученная в день отъезда. Этого было очень мало. Семьи у меня нет, имущество мое превращено в ренту, так что и ухаживающих родственников у меня почти нет. Деловые письма, слава Богу, остались в Париже, так что вся корреспонденция состояла из рекламы магазина «Лувр», да образцового номера «Пулярды», журнала, посвященного птицеводству.

С грустью вспомнив о своих курах, я прочел от доски до доски во время подвернувшийся журнал, медленно, с расстановкой, так, чтобы добраться до полудня и не быть вынужденным перечитывать одно и то же.

Как все рекламные номера, присланный мне образец журнала был очень интересно составлен. Я встретил в нем

ценные сведения; двумя из них решил даже воспользоваться по возвращении домой.

«Пулярда» превозносила до небес новый разборный курятник из волнистого алюминия — «Галлос», который складывается и раскладывается, как ширмы, и который может быть увеличен до любого размера при помощи добавочных камер. Вы приобретаете курятник «Галлос» и расходуете на это известную сумму, которая никогда не пропадает, так как, если вам нужно большее помещение, то стоит только прикупить добавочную камеру, которую можно приставить в мгновение ока. Это очень удобно.

Под заглавием «Египетский прибор для искусственного высиживания цыплят», я прочел следующее: «Обратив внимание на отдаленное сходство в строении — факт, известный многим — зерна и яйца, изобретатель, припомнив то обстоятельство, что найденные зерна древнего Египта дали ростки после долгого промежутка бездеятельности, построил свой прибор для высиживания цыплят таким образом, что с одной стороны яйца высиживаются таким же образом, как в других аналогичных приборах, а с другой — при помощи особого приспособления, употребление которого очень просто, — можно устроить так, что яйца пролежат три месяца до начала процесса высиживания. Это приспособление дает возможность отдалять срок появления цыплят на весьма приличный промежуток времени, так что можно получать свежих цыплят в удобное для продавцов время».

Дальше шло изложение теории и описание прибора с его термометрами, гигрометрами, кранами и т. д.... Это тоже очень очень практично.

Я уже давно мечтал о таком приборе, потому что куры плохо высиживают яйца чужих пород, а мой домовладелец, дорожа своим утренним сном и ссылаясь на свои права, не разрешает мне держать у себя петуха. Только что вычитанное мною новое приспособление окончательно победило мою нерешительность; а с другой стороны, сосновый ящик, служивший курятником, начал гнить. Поэтому я испытывал двойную радость, которую, может быть, в дан-

ный момент разделяет со мной кто-нибудь из моих читателей, и тщательно уложил журнал в свой чемодан.

Поезд остановился.

Остальное путешествие состояло из серии выводивших меня из себя остановок. Я не стал бы упоминать об этом, если бы не испытывал известного удовольствия при воспоминании об этом пути, приближавшем меня к лету — право, мне трудно скрыть, что я удалялся от севера.

Наконец, вечером я добрался до цели: захолустной станции.

Гамбертена не было на станции. Старый крестьянин, говоривший на местном наречии, забрал мой сундук и помог мне взобраться на расползающийся по швам, гремящий, пыльный брек, место которому было в музее. Доисторического периода лошадь мирно дремала в оглоблях:

— Но!.. шала!.. — прикрикнул он на лошадь.

Мы двинулись в путь. При свете заходящего солнца я не находил того весеннего смеха природы, о котором мечтал. Да, было жарко; были и цветы; но прямо против нас за лесом горизонт был омрачен цепью сероватых гор. Они казались неподвижно грустными; точно убежище, в котором ноябрь ожидает своей очереди появиться на свет Божий, что-то вроде вечного места жительства зимы.

— Но!.. шапа!..

«Странное имя», подумал я, «должно быть, местного происхождения».

Все же после двадцатилетнего безвыездного пребывания в Париже и десяти часов вагонной тряски тишина полей производила на меня потрясающее впечатление; меня охватил неожиданный прилив нежности. Но мы ехали по направлению к противным горам, и...

— Но!.. шапа!..

— Что это значит, это имя? — спросил я у старика.

— Шапа? Вы живете в Париже и не знаете этого?

Он осклабился.

«Ага, — подумал я. — Парише! Оказывается, не шапа, а жапа! Черт бы побрал их акцент!»

Крестьянин продолжал, издеваясь надо мной:

— Вы, шначит, пуквально нишего не шнаете в Парише?
«Пуквально? Великолепно», — продолжал я мысленно,
— «значит, не шапа, а жаба! Какое странное название для лошади!»

— Почему это вы называете лошадь жабой, разве она похожа на лягушку?

— Вшдор, пуштяки, выдумки... шепуха...

Я тщетно пробовал продолжить наш разговор, так как возница говорил на чрезвычайно трудно понятном наречии. С большим трудом, через пятое в десятое я разобрал, что он служит кучером, и садовником, и зовут его Фома, но в Орме его прозвали Дидимом. Таким образом, я узнал, что Гамбертен помнит еще Евангелие и не прочь пошутить.

Спустя довольно продолжительное время — спустилась ночь — наша жалобно стонущая повозка проехала по главной улице жалкой деревушки, затем после продолжительного подъема по испорченной выбоинами дороге достигла опушки леса. Мы въехали в лес и внезапно, в наступившей темноте повозка остановилась, а перед моими глазами вырос белый фасад большой постройки.

Фома окликнул меня: мы приехали.

Гамбертен и я внимательно разглядывали друг друга.

Как, этот пятидесятилетний плешивый и желтый старикашка — это Гамбертен? Гамбертен, который был выше меня ростом, когда ему было семнадцать лет? Вот так сюрприз!

Мне казалось, что я читаю в его прикрытых пенсне глазах те же замечания на мой счет.

Но все это продолжалось ровно столько времени, сколько мне понадобилось, чтобы выйти из повозки на землю; когда мы оказались один возле другого, я почувствовал в его рукопожатии, что наши бывшие души воскресли в нас.

После обеда Гамбертен пригласил меня в библиотеку, украшенную экзотическими трофеями — доспехами дикарей, копьями, стрелами и томагавками. Он уже рассказал

мне в общих чертах свою, полную приключений, бродячую жизнь.

Мы продолжали наш разговор:

— Да, вот уж скоро шесть лет, как я вернулся. Я застал старый дом полуразрушенным... но мне не на что было привести его в порядок. Да и все поместье здорово пострадало. Арендатор умер, так что, когда я вернулся, все было страшно запущено... Теперь я отдаю землю в аренду местным крестьянами

— Мне кажется, — возразил я, — что, будь я на вашем месте, мне было бы страшно приятно самому обрабатывать свои земли. Это было бы ценным развлечением для вашего одиночества...

— О, у меня нет недостатка в занятиях, — сказал он с жаром. — У меня больше дела, чем надо для того остатка дней, что мне осталось прожить. Если бы я мог предвидеть...

Он не закончил фразы и нервно заходил по комнате, вертя пенсне на конце шнура.

Взглянув на застекленные шкафы библиотеки, я заметил среди массы старых книг несколько новых; по стенам висели географические карты, тоже новые.

Я намекнул:

— Вас увлекают занятия?..

— Да, занятие поразительного интереса, поверьте мне...
Увлекательнейшая работа...

Его глаза заблестели. Он продолжал:

— Я догадываюсь, о чем вы думаете. В прежние времена вы не знали за мной особенной страсти к наукам, не правда ли? Ну, что же? Я употребил сорок четыре года на то, чтобы сделаться прилежным. Ах, Боже мой — вести бродяжническую жизнь, без отдыха метаться по всему свету в поисках за целью жизни... и найти ее на месте своего отправления, когда уже почти совсем состарился и обнищал.

И подумать только, что целые поколения Гамбертенов прошли здесь, посвистывая, с арбалетом или ружьем на плече, не слышав призыва этих несущих славу открытий...

Да, милый друг, я роюсь — именно так и надо сказать — роюсь с остервенением.

Он остановился, чтобы насладиться эффектом своих слов и проговорил с особенным ударением:

— Я занимаюсь палеонтологией.

Тут же Гамбертен и потух, точно обманутый в своих ожиданиях. Действительно, на моем лице вряд ли отразилось предвкушаемое им восхищение. Это забытое мною слово произвело на меня небольшие впечатление. Все же из вежливости я воскликнул:

— Ах, черт возьми!

Гамбертен не захотел унизить меня объяснением этого слова.

— Да, это именно так, как я вам заявил, — продолжал он. — На ловца и зверь бежит. Как-то раз, в одном месте, которое я вам укажу — если вас это заинтересует — я споткнулся о камень, так я, по крайней мере, думал; он оказался мне необыкновенной формы; я стал рыть землю — оказалось, что это кость, да, милый друг — череп животного, животного... допотопного; понимаете? — спросил он меня насмешливым тоном. — Там оказалось целое кладбище ископаемых. Выкопать их, вычистить и изучить — сделалось целью моей жизни. Вот каким образом я сделался палеонтологом.

Надо быть правдивым, да и нечего скрывать правду: его энтузиазм не заразил меня. Я мысленно назвал манией — эту страсть выкапывать из земли эту падаль. К тому же меня страшно клонило ко сну после тяжелого длинного дня. Если бы Гамбертен заявил мне, что он Магомет — это произвело бы на меня не большее впечатление. Я объяснил ему это в извинение моему поведению, и мы поднялись наверх, чтобы лечь спать.

Гамбертен показал мне мою комнату, отделенную от него промежуточной комнатой. Все они выходили в общий коридор.

— Я люблю жить как можно выше, — сказал он. — Тут и воздух лучше и вид интереснее отсюда.

Я не поместил вас рядом с собой, потому что я встаю очень рано и хочу, чтобы вы могли спать, сколько вам заблагорассудится.

Эти слова вызвали в моем мозгу последовательные воспоминания о моем домовладельце, петухах, курах, курятнике, приборе для искусственного высиживания цыплят, деловых письмах, нашем деле, Броуне, нашем последнем свидании с ним, моем отъезде, приезде и, в конце концов, Гамбертене и его лице, напоминавшем захиревшего австрийского императора.

Я заснул.

II.

Луч солнца, проникший в незащищенное ставнями окно, разбудил меня. Я подбежал к окошку и распахнул его настежь, навстречу яркому солнцу; комната выходила на равнину.

Замок был расположен в лесу, богатом чинарами и вязами, в четырех, приблизительно, километрах от опушки, но перед замком благодаря вырубленным деревьям образовывалась обширная лужайка, которая, спускаясь и расширяясь, постепенно переходила в луга. Налево, вдали, видны были красные крыши захудалой деревушки, а за ними до конца горизонта, насколько хватал глаз, простиралась равнина нежно-зеленого цвета.

Я оделся.

Гамбертена уже не было в комнате. Дверь была полуоткрыта, и я мог разглядеть эту комнату, освещенную громадным окном, плохо вязавшимся с остальной старинной архитектурой замка. Решительно — Гамбертен был большим поклонником гигиены. Я заметил также большой стол, заваленный книгами и бумагами.

Дом казался пустынным и мне с большим трудом удалось откопать какую-то ворчливую служанку огромных размеров. Я сейчас же узнал, что это была госпожа Дидим; эта

чета мужланов составляла всю прислугу графа де Гамбертена. Супруга г. Фомы удостоила меня какой-то неразборчивой фразы, из которой я только и разобрал, что: «Барин работает».

Мне стало понятно, что мне оставалось делать. Я отправился на прогулку.

Замок был похож на разрушающуюся казарму; щели между бутом густо заросли травой. С другой стороны замка деревья тоже были вырублены, но на этой лужайке были устроены зеленые аллеи и посажены декоративные деревья, так что получался намек на парк. По изящному рисунку аллей, по множеству сикомор, тюльпанов и индийских жасминов можно было судить о былой роскоши. Но на всем был виден упадок и ясно было, что лес год от году отвоевывает место у парка, захватывая прежние лужайки.

Вдали горы гордо вздымали свои лысые вершины.

По бокам замка находились два громадных строения, должно быть, сараи. Одно было наполовину выше другого, верхняя часть его была светлее нижней, а внизу видны были оконные отверстия, закрытые теперь битым кирпичом. Второй сарай примыкал к другим постройкам, принадлежавшим к покинутой арендатором ферме, от унылого вида которой сжималось сердце, так много там было мху, ржавчины и плесени. В середине двора находилось какое-то сооружение, привлекавшее мое внимание: оно оказалось цистерной, наполненной отвратительной водой такого же зеленого цвета, как края этого колодца, густо заросшие мхом.

Молчание действовало на нервы. Вдруг я услышал равномерные шаги: в конюшне, выстроенной на тридцать лошадей, мерно ходила, опустив уши, Жаба, точно призрачный сторож.

Я прошелся по близлежащему лесу. Он оказался более редким, чем я предположил сначала; кустарников почти совсем не было, так что пробираться сквозь высокоствольные деревья не составляло особого труда. Кое-где местами сохранились руины каменной стены, окружавшей когда-то

поместье. Лес произвел на меня зловещее впечатление, поэтому я направился к полям.

На мое счастье, там кипела работа: в порывах свежего ветра до меня доносился звон кузницы, пение крестьян и мычание, блеяние и ржание животных. По полям были разбросаны в большом количестве светлые, занятые чем-то точки; свиньи бродили стадами с хрюканьем, над моей головой пел жаворонок, и это показалось мне ангельской мелодией... О, бульвар Севастополя! Каким далеким ты мне показался в эту минуту!..

Вдруг я услышал оранье Фомы, который издали кричал мне, чтобы я вернулся в замок.

Мы вместе с ним направились к уединенному сараю. Над входной аркой можно было разобрать полустершуюся скульптурную надпись: «Оранжерея».

— Ага, вот вы наконец и явились, — воскликнул Гамбертен. — Нечего скрывать, сознавайтесь — палеонтология не привлекает вас, не правда ли?

Создатель мой! Эта оранжерея оказалась музеем, какой-то помесью зверинца, кладовой и еще чего-то, словом, такого кошмара, что я не забуду об этом до конца моих дней.

Это помещение освещалось стеклянной крышей. Вся левая сторона его во всю длину от пола до самых стропил была занята одним гигантским скелетом, совершенно неправдоподобного размера. Вдоль противоположной стены стояли скелеты других четвероногих и двуногих животных, менее громадных, но все же неестественно больших размеров. Помимо моей воли, перед этим зрелищем у меня мелькнула мысль о маскараде, до того странно курьезен был вид остатков этих чудовищ, особенно тех, что стояли на двух ногах.

Стены были покрыты, точно неправильно вымощены, вмазанными в них каменными дощечками. На них были выгравированы или рельефно выбиты какие-то отпечатки или арабески странного, загадочного вида.

Повсюду валялись странные, смешные, нескладные кости, побелевшие от времени; на каждой кости был проставлен номер черного цвета.

Гамбертен, одетый в длинную блузу, стоял, опершись на верстак, на котором лежала масса инструментов, как мне показалось, слесарных.

Я остановился, разинув рот; мое любопытство разгоралось.

— Объясните-ка мне, в чем тут дело, — сказал я, — вот этот... его спинной хребет пригодился бы для шпица любого собора. Что это за штука?

Гамбертен торжествовал.

— Это, — сказал он, ликуя, — это — атлантозавр.

— Ну, а он... а какой он длины?

— Тридцать метров и двадцать две десятых. Прекрасная мысль пришла моим предкам в голову — соорудить здесь оранжерею, а еще лучше поступил арендатор, превративший это помещение в склад для фуража.

— А что это такое... с малюсенькой головой?

— Это — бронтозавр. А рядом — ипсилофодон.

Меня охватило какое-то оцепенение. Эта номенклатура подавляла меня.

— Вот два аллозавра... вот мегалозавр; его сосед, сборка которого еще не кончена, так как, как вы сами можете видеть, не хватает еще двух передних лап...

— Тоже мегалозавр, — сказал я опрометчиво.

— Ничего подобного, — вскричал Гамбертен. — Это — игуанодон. Если бы черепа не приходились так высоко, вы сами увидели бы, какая громадная разница между ними, да и кроме того, когда передние лапы будут находиться у этого экземпляра на своем месте, у вас будет меньше шансов ошибиться.

— Значит, вы сами занимаетесь тем, что восстанавливаете этих животных? — спросил я.

— Да, я и садовник. Вот поглядите, — сказал он, указывая на груды костей, — тут валяется целый компсоньят. Я примусь за него, как только кончу игуанодона. Если вы ничего не имеете против...

— Компсоньят! — воскликнул я радостно. — Ну конечно, я приму в этом участие и стану вам помогать. Но, знаете,

это в высшей степени увлекательно, то, чем вы здесь занимаетесь.

— Не правда ли? Я так и знал, что вы придете к такому заключению. Против этого немислимо бороться. Вы увидите сами, что будете переживать такие часы, каких не знали даже боги. При помощи математических выкладок, вы восстановите в своем мозгу весь первобытный мир, и, может быть, вам удастся увидеть хоть краешек решения великой задачи мироздания. ...Но сегодня вы слишком поздно пришли, так что я не могу начать вашего посвящения. Пойдемте завтракать.

С этого самого момента я не выходил из состояния невероятного возбуждения до самого дня моего отъезда. Даже теперь, когда я пишу, при восстановлении этой сцены, меня охватывает то же волнение, конечно, в меньшей степени: лихорадка открытий.

Мы быстро покончили с едой.

— Необыкновенно жарко для этого времени года, — заметил Гамбертен. — Не хотите ли пройтись, погулять и покурить? Да и мой первый урок принесет вам больше пользы, если я дам вам его на свежем воздухе.

Мы вышли на прогулку.

— Прежде всего, ответьте мне на следующий вопрос, — сказал он. — Вы очень набожны?

— Я бываю в церкви почти исключительно на свадьбах, да на панихидах.

— Хорошо! Каковы ваши политические убеждения?

— Я умеренный республиканец.

— Но как вы умерены... до фанатизма, или нет?

— У меня нет воинствующих наклонностей. Я ограничиваюсь тем, что подаю свой голос во время выборов.

— Хорошо! А для вас очень важно оставаться при своих убеждениях по этим двум вопросам? Должен вас предупредить, что трудно, сделавшись палеонтологом, оставаться верным сыном церкви и не сделаться социалистом.

— Я полагаю, что трудно допустить, чтобы чистая наука заблуждалась. Так что я готов воспринять, как истину, самые неожиданные выводы науки.

— Хорошо. Теперь ответьте еще на несколько вопросов. Каковы ваши познания?

— Вы же знаете, что я сдал экзамены на бакалавра.

— И это все?

— Да. От всех моих знаний у меня осталось их ровно настолько, чтобы быть в состоянии, в случае нужды, с успехом возобновить их, да чтобы понять кое-какие опыты. Да и это преимущество мало пригодилось мне в жизни: коммерческая деятельность очень многого требует от человека, передышки почти не бывает; те немногие книги, которые мне пришлось прочесть за это время, пользуясь дождливыми воскресеньями, были предназначены больше для развлечения, нежели для пополнения образования. Вне деловых забот я ищу только возможности забыть о них при помощи здорового, не требующего умственного напряжения образа жизни. Необходимость работать для того, чтобы существовать, внушила мне отвращение к труду. Так как я совершенно одинок, то мне не пришлось возобновлять свои познания для того, чтобы руководить занятиями своих детей и помогать им решать задачи или исполнять заданные уроки... Я старый холостяк, Гамбертен...

— Тем лучше! Раз нет предвзятых идей, то это великолепно. Ваш мозг, Дюпон, чистая аспидная доска...

И, указывая широким жестом на равнину, он добавил:

— Было время, когда все, что вы видите перед собой, было дном первобытного океана, а посредине возвышалось центральное плоскогорье, как остров. Затем вода мало-помалу удалась, оставляя по пути болота. Потом они высохли, и с тех пор эта равнина не подвергалась никаким радикальным переменам. На ней только медленно скопились остатки последовательных поколений. Оглянитесь! Берег океана, покрывавшего почти весь мир, находился вон там у края леса, но не со стороны теперешних Орм, а у подошвы горы.

— Эта гора производит очень печальное впечатление, — заметил я, — она похожа на лунную гору.

— Она была лучезарна, она сияла разноцветными огнями; это потухший вулкан. Ее происхождение, должно быть,

относится к эпохе возникновения болот. Вулкан возник на почве древнего сланца. Извержение еще больше подняло почву этой местности и покрыло ее массой лавы. Так что тут сланец покрыт густым слоем лавы. Да, представьте себе, — эти серые вершины представляют собой массу давным-давно затвердевшей лавы. Во всей этой местности масса лавы окружена сланцем и не соприкасается с дном бывшего океана, но здесь, на небольшом пространстве, эти слои соприкасаются; и это довольно редкое явление — это соприкосновение скал, образовавшихся после извержения вулкана, с слоем почвы юрского периода.

— Вероятно, это произошло потому, что слой лавы покрыл ее в то время, — высказал я предположение.

— Нет, это произошло благодаря обвалу скал, оторвавшихся во время извержения. У меня есть уважительные причины, чтобы так думать: кратеры этих вулканов, кажущиеся такими близкими, на самом деле находятся слишком далеко для того, чтобы лава могла дойти до края болот, и вы сами увидите, что масса, о которой я вам говорю, появилась здесь не в виде расплавленной массы, а в виде обломков скал.

— Но животные? — перебил я его.

— Подождите! Доберемся и до них. Все это напомнило вам — всякий знает это с детства — что, теоретически, земная кора состоит из девятнадцати различных наслоений, не считая подразделений...

— Как это — теоретически? — спросил я.

— Ну да, потому что, как вы сами могли в том убедиться по этому сланцу, вулканические извержения иногда вздымали современную этому извержению почву на такую высоту, что предохраняли ее от последовательных наслоений; в других случаях — как, например, случилось с первобытной почвой этой равнины — неожиданные потоки предохраняли ту или иную местность от того же. Да вот вам пример: весь юго-запад Франции был под водой, тогда как эти места оставались совершенно сухими. Вам это станет понятнее, когда я докажу это на своих геологических картах. Итак, почва состоит из девятнадцати наслоений, из

которых каждая представляет собою эру. Но не во всех слоях имеются ископаемые, так как не все жили настоящей жизнью и им нечего хранить в своей глубине. Жизнь появляется — в самом скромном виде, — только в четвертом, считая от центра земли, пласте, т. е., во втором слое водяного происхождения, так как первые два слоя (лава и гранит), сыновья не воды, а огня, а третий слой (сланец) отложился в кипящей воде, среде не приспособленной к жизненным требованиям. Я думаю, вы сами поймете, что не найдете даже и следа животных так называемого допотопного периода в этих горах лавы, так же, как и в непосредственно окружающем их слое сланца. Но зато здесь, — вскричал Гамбертен, топая ногой по зеленой траве, — какая фауна и какая флора!

— Если я вас верно понял, — сказал я, — ископаемые, находящиеся в оранжерее — одной и той же эпохи.

— Совершенно верно. Они существовали во время вторичной эры; ведь биологически эру составляют три наложенных друг на друга пласта: азойская эра, первичная, или палеозойская, вторичная или мезозойская и т. д.

Ах, как мне хотелось бы точно вспомнить этот урок, и все последующие. Гамбертен обучил меня массе вещей; я слушал его, не делая заметок, вполне полагаясь на свою память, до того его лекции были ясны и казались несложными... Но что у меня осталось теперь в памяти? Смутные воспоминания, в которых я тщательно вылавливаю осколки... только те, которые мне кажутся необходимыми для того, чтобы мой рассказ был понятен...

Он описал мне историю возникновения земли — сначала туманный обрывок солнца, затем огненное ядро, начинающее затвердевать, окружающие его испарения, которые падали на это ядро в виде дождя и тотчас же, сгущенные, поднимались снова; охлаждение ядра, воду, покрывшую всю землю, возникновение материков, громадные болота, землетрясения и, наконец, возникновение жизни среди теплых морей; прогресс жизни, начиная с скромной жела-

тинообразной массы, которая, пройдя стадии морских водорослей, растения, моллюсков, рыбы, ящерицы и млекопитающих, доходит до человека...

Каждый вечер освещался новый пункт; с каждым часом я все дальше проникал в тайну науки. Увы, я все понимал... а теперь ничего не знаю... Может быть, свыше запрещено помнить. Потому высшего. Почему.

Первый урок затянулся.

Мы возвращались в замок во время заката солнца. Я сказал Гамбертену:

— Увлечшись вашим необыкновенно интересным рассказом, мы забыли посетить место раскопок.

— Оно находится довольно далеко отсюда, — ответил он, — по ту сторону леса, как раз на месте древнего пляжа, на месте соприкосновения лавы и почвы юрской эры. Там я споткнулся на эту, открывшую мне глаза на все кость. Конечно, можно было бы заниматься раскопками на всей равнине, но обыкновенно ископаемые встречаются редко и пришлось бы немало разрыть земли, пока наткнулись бы на что-нибудь; да, кроме того, здесь должно быть больше всего рыб. Я должен сознаться, что находка нескольких гигантских пресмыкающихся, как, например, ихтиозавров или плезиозавров, было бы недурным результатом, но я предпочитаю работать там, где покоится большое количество ящериц. Эти животные были только наполовину приспособлены для плавания, но все они, без исключения, посещали берега морей и болот, в которых они любили плескаться, питаясь одни — травами, а другие — рыбами. Все же вода оставалась для них главным плодоносным элементом, необходимым для жизненных функций; но уже многие из них не проводили все время, плавая в воде, и немало лап, не снабженных перепонками, бродило по твердой земле.

Он открыл дверь в оранжерею.

В сумраке вечера скелеты казались еще громаднее.

Я взглянул на них свысока, взглядом знатока, но моя гордость испарилась без остатка, так как Гамбертен сказал:

— Все-таки, какая масса неизвестного остается здесь. Вот единственное верное: кости. Но для каких мышц, для какой кожи, для каких органов они служили поддержкой?

— Разве вы этого не знаете? — спросил я.

— Нет! Но я догадываюсь...

III.

Мой хозяин сказал мне:

— Так как вы любезно согласились сделаться моим сотрудником, я хочу, чтобы ваш дебют был логически обоснован. Оставим компаньона в стороне. Сегодня вы можете мне пристроить на место лапы игуанодона, чтобы закончить его сборку, а завтра мы отправимся в пещеру.

Значит, это была пещера? Я не сделал никакого замечания, затем мы приступили к делу в оранжерее: взобравшись на высокую лестницу, мы прикрепили к железной проволоке громадную кость.

Показался садовник.

— Мне вас не надо, Фома, — сказал ему Гамбертен, — этот господин вас замещает.

Старый слуга удалился, лукаво улыбаясь по обыкновению.

— Это мой обычный помощник — форменная деревенщина. Он до сих пор верит в то, что ископаемые — продукт роскоши, порожденные землей, бесполезные произведения неудачно использованной силы земли, нечто вроде дамской работы!.. Считать это скелетами? — да никогда в жизни! Он не суеверен, его не так то легко убедить в чем-либо. Вот что ночью за деревьями прячется черт — это не подлежит никакому сомнению, но что кость, — кость, — вот так чепуха!

Гамбертен прикреплял правую руку животного болтом.

— Ну, Дюпон, что вы скажете об этой ручонке? Посмотрите-ка, не правда ли, у него большой палец таков, что его соседу и не снилось.

И в самом деле, оба животных, одинаковых по росту, различались вот чем: обе лапы мегалозавра были украшены пятью совершенно одинаковыми пальцами, тогда как у игуанодона лапа отличалась от настоящей руки тем, что большие пальцы обеих лап оканчивались длинной заостренной фалангой, очень внушительного вида.

— Какой кинжал!

— А ведь заметьте, — сказал Гамбертен, — что тут еще не хватает когтей.

— Этот великан был, вероятно, грозой своего времени.

— Разуверьтесь, Дюпон; игуанодон напоминал по своему темпераменту нашу корову: он никогда не нападал на своих современников, он только защищался от нападений; поднимитесь выше — к его черепу и рассмотрите зубы... это зубы безобидного жвачного животного.

— Впереди их совсем нет, — сказал я, стоя на самой верхушке лестницы.

— Это потому, — ответил мне Гамбертен, — что клюва не хватает. Роговая масса плохо сохраняется.

— Клюва?

— Ну, да, клюв орла, который выглядел, должно быть, так...

Концом своей отвертки Гамбертен начертил на стене изображение гигантского клюва. Затем продолжал:

— Пресмыкающиеся были отцами птиц. Взгляните на его ноги.

И действительно, колосс стоял на коренастых когтях, чем тоже отличался от мегалозавра. У последнего были четыре совершенно одинаковые лапы.

— Один из них орнитопод, а другой теропод, — объяснил мой профессор.

— Вы должны согласиться, что, за исключением носа и конечностей, они похожи друг на друга, как два брата, — возразил я.

— Я не спорю с вами, — как два брата, но как Авель и Каин. Поднимитесь опять и взгляните на другую челюсть...

Я снова полез на лестницу.

Разинутая пасть мегалозавра, украшенная кровожадными клыками, напоминала пасть аллигатора.

— Ого! Это меняет всю картину!

— Поверьте мне, что Каин-мегалозавр часто пожирал Авеля-игуанодона. И, может быть, отсюда и пошел этот миф, почему знать?..

— Позвольте, — возразил я, гордый своими познаниями, — ведь в их времена человек еще не появлялся на свет Божий...

— Да, человек, такой, как мы с вами, не появлялся; но мог быть нарек на человека, который был заложен в организм ящерообразного существа, предшествовавшего мегалозавру, вместе с намеком на птицу.

— Ну вот еще!

— Отчего же нет! Мои оба пансионера, мало различающиеся друг от друга, происходят от этого предка, правда отдаленного, но все же общего для них обоих. Восстанавливая наше происхождение, углубляясь в глубь веков, доходят до этого предка, проходя через игуанодона. И нечего стесняться этого: эти ящеры, наши предки и наши дядюшки, были властелинами своего времени, тогда как в более близкие к нам времена, например, во времена царства мастодонта, слона с четырьмя клыками, нашим дедам-кенгуру жилось не особенно весело.

Что же делать, приходилось соглашаться: ведь человек происходит от обезьяны, одна из разновидностей которых приближается по строению к сумчатым, а отрицать с достоверностью, что эти скелеты не были облечены в свое время телом гигантских двуутробок, никак нельзя было. Стоя на своих задних лапах, они слегка наклонялись вперед, а их могучий хвост тащился за ними, напоминая третью ногу; и казалось, что передние лапы стесняют их, как стоящую на задних лапах собаку. Их удлинённая, как у кенгуру, шея, слегка отогнутая назад, кончалась удлинённой лошадиной головой, но какой лошади! На стене была написана высота: восемь метров.

— Они умерли в очень молодом возрасте, не успев развиться окончательно, — сказал, точно извиняясь, Гамбер-

тен. — Взрослые экземпляры достигали высоты пятнадцати метров.

Говоря это, он указал мне на отдельно лежавшую бедреную кость, которая была почти вдвое больше остальных.

— Мое помещение слишком мало. Чтобы разместить всех моих квартирантов, мне нужен был бы собор!

— А почему это, — спросил я, — рука, такая характерная для человека конечность, лучше сформирована в этот период у... будущих птиц, нежели у будущих пианистов.

— Эта конечность у игуанодона, — ответил Гамбертен, — временное явление и является этапом в переходе лапы в крыло. Необходимо было, чтобы лапа ускорила этапы своего превращения для того, чтобы превратиться в крыло к тому же времени, как — с другой стороны — конечность мегалозавра превратится только в руку. Ведь основой перепончатого крыла будут утонченные пальцы, вот так же, как большой палец игуанодона...

— Разве существует промежуточное существо между летучей мышью и птицей?

— Ну конечно. Археоптерикс.

— Значит, — продолжал я, преследуемый навязчивой мыслью, — эти два чудовища являются первым разветвлением, ведущим, с одной стороны, к человеку, а с другой — к птицам... И будущая птица — вегетарианец, а будущий человек — питается мясом, да что я — мясом! — он просто хищник. С одной стороны — отсутствие крыльев, а с другой — отсутствие души... И оба уже двуногие...

— О, — сказал Гамбертен, — над этой параллелью стоит подумать; но не поражайтесь — это обыкновенные пресмыкающиеся, кладущие яйца, как и их прямые потомки, существующие, в измененном, конечно, виде, в наши времена и очень далекие от нас — сентиментальных существ, занимающихся изданием законов и т. д. ...

— Какие они там ни на есть пресмыкающиеся, а знаете ли вы, что они напоминают больше фигуру человека, чем, например — коршуна? Вот неприятное открытие — узнать, что происходишь от какой-то ящерицы...

— Это было бы еще не так плохо, а гораздо вернее, что мы приходим от ракушки, а еще вернее — от какого-то студня. Но сознайтесь, что гораздо благороднее постоянно совершенствоваться, чем дегенерировать, что имело бы место, если бы мы на самом деле происходили от Адама и Евы, которые представляют собою пару идеальных людей; но ведь вы-то, надеюсь, не думаете, что вы являетесь идеальным человеком?

— Увы, далеко нет, и моя бедная голова идет кругом от всех этих предположений...

— Ну, так и не думайте больше об этом — и подайте мне лучше левую лучевую кость.

Обмениваясь этими фразами, мы закончили сборку игуанодона.

Следующий день оказался утомительнее.

На заре наш маленький караван углубился в лес. Мы шли по зеленой дорожке под распускающейся листвой; мы — это Гамбертен, Фома, четверо здоровенных парней, тощая Жаба, тащившая громадную телегу, и я.

Дидим и его соотечественники вели непонятный для меня разговор между собой, Жаба тяжело отдувалась, с трудом перемещая пустую телегу, а Гамбертен шел молча.

В этой местности в 1900 году жара была прямо тропическая. Она была уже нестерпима, хотя было только начало апреля. Так что мы шли, не торопясь.

Предоставленный самому себе, я направлялся к этим подозрительным горам не без чувства смутного, безотчетного страха. Мне и лес, не смотря на его праздничный весенний убор, казался каким-то непонятным... во всяком случае мрачным, заунывным. Меня преследовала мысль, что для весеннего радостного настроения не хватает чего-то... какого-то необходимого элемента.

Этим элементом, которого не хватало (я так долго думал над этим, что добился, наконец, в чем дело и, добившись, удивился, как я раньше не понял этого) было — отсутствие болтливых и оживленных птиц. Какое мрачное место, какой молчаливый лес!

Я поделился своими мыслями с Гамбертенем. Он ответил:

— Это обычное явление во всех вулканических местностях. Животные боятся сейсмических содроганий почвы и безошибочно угадывают местности, в которых они возможны. Я много раз убеждался в существовании этого закона самосохранения у животных; окрестности Неаполя и остров Капри из-за этого кажутся погруженными в траур. Но вы видите, что инстинктивная боязнь распространяется даже на местности, где опасность давным-давно миновала.

— Скажите-ка, Гамбертен, вы твердо убеждены, что нам абсолютно ничего не угрожает? Не знаю, потому ли, что, как оказывается, я родственник птиц, но я что-то не совсем спокоен...

Он рассмеялся, потом сказал:

— В этом никогда нельзя быть уверенным, — и затянул какую-то местную песенку.

Энергичный человек — этот Гамбертен! Я всегда любил находиться в обществе человека смелого, даже властного. Он с успехом заменял мне Броуна, и я им восхищался.

Наша тропинка шла слегка в гору. Вскоре мы вышли на полянку. Цепь высоких утесов заканчивала ее и тянулась непрерывной лентой направо и налево, как бы срезая лес, так что верхушки тополей касались своими ветвями их гребней. Прямо перед нами утесы тянулись, вздымаясь отрывистыми ступенями, выше и выше вплоть до серых вершин гор, которые отодвигались все дальше и дальше к горизонту.

Пещера находилась прямо перед нами в стене утеса, напоминающая громадный раскрытый рот.

Циклопические громады, оторвавшиеся во время былого извержения, выкатились вперед и лежали там и сям на лужайке, глубоко уйдя в землю.

Засветив факелы, мы все, не исключая Жабы, вошли в недра земли под довольно высокий и извилистый свод.

Гамбертен сказал мне:

— Обратите внимание на то, что покатость почвы продолжается. Мы продолжаем находиться на дне древнего

моря, очень незначительно поднимающегося к берегу, как края в умывальной чашке. Случайно под грудой взгроможденных утесов остались пустоты; в одной из них мы и находимся сейчас, а эти коридоры, входы в которые вы можете видеть на разных высотах стен, представляют собой незаполненные щели.

Мы пришли в громадный круглый зал, пол которого был наполовину вскопан. Несколько темных дыр в стенах указывало на такое же число подземных разветвлений.

— Берегитесь ям! — посоветовал Гамбертен.

После того, как я обошел зал кругом, я не мог узнать отверстия, в которое вошел со своими проводниками. Им пришлось указать мне его.

— Вот здесь я произвожу раскопки, — заявил Гамбертен. — Я снова настоятельно советую вам остерегаться трещин.

— Я рассчитывал, — сказал я, вытирая лоб, — я надеялся получить большее удовольствие от вашего грота. Нельзя сказать, чтобы свежесть воздуха была его главным достоинством. Тут не прохладнее, чем в лесу!

— Ну, надеюсь, вы сами понимаете, что в этой вулканической местности внутренний земной огонь довольно близок к поверхности земли. И мы, в сущности, занимаемся вовсе не тем, что стараемся уйти от него, мы, наоборот, идем к нему... или, вернее, к выходному отверстию забытого кратера.

— Послушайте, Гамбертен, вы не шутите?

— И не думаю даже! Но не бойтесь ничего, нас отделяют от него больше пятнадцати километров... Эта комната, — сказал он после некоторой паузы, — является последней границей почвы юрской эры; а галереи, находящиеся против той, по которой мы прошли, опускаются горизонтально. Они, вероятно, проходят по тогдашнему слою сланца.

— Значит, вы их не исследовали? — спросил я.

— К чему? Сланец под ногами, лава вокруг — это совершенно бесплодное место.

Тайна обволакивала меня своею туманной одеждой, исследование этого девственного мрака меня безумно соблаз-

няло, мне приходили в голову самые фантастические предположения, мурашки забегали у меня по спине.

— Замолчите, — сказал я шепотом, — я слышу... шум... я слышу шум ручья... или очень маленького или находящегося на далеком расстоянии от нас...

— Я знаю, — сказал Гамбертен, — впрочем, это очень банальное явление. Откуда же, по вашему мнению, берутся источники? Да ну же, мечтатель, за работу!

Работа успокоила мою потребность в деятельности. Я схватил лопату, стал рыть, с грехом пополам управляясь ею, и вскоре стал индифферентно относиться к окружающим меня опасностям, ко всем этим сомнительным отверстиям, которые в конце концов могли оказаться выходами... но, рассуждая здраво, кто же мог оттуда выйти? Так что я ревностно рыл, слушая в то же время Гамбертена.

— Следите за моими указаниями, — говорил он. — Эта кость, часть которой видна в земле, доказывает присутствие здесь большого скелета. Я, со своей стороны, предполагаю в ней ребро. Сначала мы изолируем весь куб земли, в котором покоится все животное целиком, затем, не разбивая костей, разделим этот куб на занумерованные глыбы такого размера, чтобы их можно было целиком уносить одну за другой на телегу. Дома мы восстановим весь куб по мере привоза глыб. Тогда нам останется только соскоблить покрывку для того, чтобы обнажить хрупкие кости. Чтобы избежать распыления, мы их покроем особым составом по мере появления их из земли... Это вовсе не так хитро.

Не прерывая своей речи ни на минуту, Гамбертен рыл землю с упорством крота; я видел при свете факелов, как его хилая фигурка поворачивалась во все стороны и напоминала сказочного гнома. Благодаря стеклам его пенсне казалось, что у него огненные глаза.

Он радостно вскрикнул.

— Что случилось?

— Случилось, что вы принесли мне удачу. Мы имеем дело с птеродактилем — и невредного размера. Я так боялся, чтобы это снова не оказался игуанодон!

— Почему?

— Потому что мне совсем не хочется иметь больше одного представителя каждой семьи, а в этом углу бездна игуанодонов. Я предполагаю, что целый выводок их, спасаясь от извержения, попал нечаянно в болото и там увяз.

— Пусть будет птеро... как его там, — проговорил я, задыхаясь от усиленной работы. — Что это за зверек?

— Скажите пожалуйста? Теперь у нас появился хвастливый тон!

— У меня? А разве я трусил у вас на глазах?

— Будет! Не защищайтесь! Я тоже прошел через это. Что касается птеродактиля, то это первое полетевшее на земле существо, нечто вроде воздушной ящерицы — конец игуанодона и начало летучей мыши, которое причинит вам немало сюрпризов.

— Но все же расскажите мне...

— Бросьте! Лучше поторопимся! Чем меньше вы теряете времени, тем скорее вы узнаете, в чем дело...

Мы возвращались в пещеру тридцать дней подряд, приблизительно до двенадцатого мая, и, когда наша работа прервалась, то мы дошли почти что до двух третей ее. Вот почему она прервалась.

Жара все усиливалась. Даже ночью нечем было дышать. Ежедневные путешествия были изнурительны и голодающая Жаба напоминала зверя из Апокалипсиса. С другой стороны, внутри грота почти невозможно было оставаться, так как температура в нем повышалась еще быстрее, чем снаружи; кроме того, там царила нестерпимая сырость.

Гамбертен относился ко всему хладнокровно. Он объяснял это явление временным проявлением деятельности, бесплодной яростью старческого вулкана. И действительно, стоило сделать несколько шагов по коридорам лавы и сланца, как чувствовалось, что с каждым шагом вас все сильнее охватывала огнедышащая атмосфера. Как-то раз, потрясая факелом, я довольно смело направился по одному из коридоров, решив исследовать его до первого ответвления, но заглушенный шум раската грома заставил меня

повернуть обратно. В глубине души я вовсе не был огорчен тем, что мог придрататься к этому случаю.

— Вы слышали приближение грозы? — спросил я.

Снова раздались раскаты грома, более продолжительные. Крестьяне радостно смеялись при мысли, что губительная засуха прекратится и в знак удовольствия с громкими криками награждали друг друга тумаками.

Мы не могли отказать себе в удовольствии бросить работу и выйти на воздух, чтобы помокнуть под дождем.

Но никакого дождя не было и на нестерпимо блестящем небе не было видно ни единого облачка. Сухой, неподвижный воздух угнетающе действовал на настроение; было тяжело дышать...

Новый чуть слышный раскат донесся до нас из отверстия пещеры; мне показалось, что под моими ногами прокатилась волна. Я пошатнулся. Все остальные, точно по команде, повторили то же движение. Гамбертен совершенно хладнокровно, даже не повышая голоса, заявил:

— Землетрясение.

Наших четырех спутников-крестьян я больше не встречал ни разу в жизни. Они убежали со всех ног.

А между тем, это незначительное колебание почвы больше не повторилось...

В течение недели Гамбертен, Фома и я мужественно возвращались к пещере. Но ввиду того, что подземная температура продолжала держаться на том же невыносимо высоком уровне, мы решили подождать, пока она понизится, а пока принялись за компсоньята.

Я должен сознаться, что обрадовался этому решению: мрачные горы не на шутку беспокоили меня.

IV.

Месяц прошел у нас спокойно. Ничего не случилось такого, что бы не было известно всем. Наступил июнь. Солнце жарило невероятно. Было жарко, как в пекле. Все зады-

хались. На покрытых пылью полях работа почти прекратилась, так как труд становился настолько же невозможным, как и бесполезным. Не желавшие считаться с этим падали жертвами солнечных ударов; были случаи сумасшествия; говорили, что даже животные производили впечатление помешанных. За тень готовы были платить; стада свиней приходили теперь в лес рыться во мху; всеобщее бедствие создало некоторое оживление даже в этой пустынной местности.

Компсоньят начинал обрисовываться. Но расположенная под палящими лучами солнца оранжерея скоро сделалась необитаемой для нас, и нам пришлось отказаться и от этой работы.

Праздность воцарилась полным властелином; конечно, праздность физическая, так как Гамбертен продолжал обучать меня и мы вместе проводили время в глубине библиотеки за наглухо закрытыми окнами и спущенными шторами и портьерами, читая при свете лампы сочинения по палеонтологии. Мы дошли даже до того, что к середине лета спускались для занятий в погреб.

Выходили мы по вечерам. В сумерки бывал короткий момент сравнительной свежести, и мы пользовались им, стараясь вернуться домой до того момента, как жара начинала усиливаться к ночи. Во время наших прогулок мы встречали таких же одиноких людей, которые выходили с тою же целью воспользоваться коротким моментом передышки. Встречалось много змей, бесстрашно покидавших свои извилистые тайники, над головой парили орлы, прилетевшие издалека в поисках воды — жажда вернула им забытую смелость приближаться к человеку.

Это еще было не все. Поднялся жгучий ветер: разрушительный сирокко.

Тогда крестьяне принялись молиться без отдыха и срока, так как решили, что близится конец света, катастрофа, противоположная потопу.

Фома, по-прежнему неверующий, ограничивался тем, что аккуратно поливал остатки бывшего парка; несмотря на ослепительные лучи солнца, он неустрашимо ежедневно

накачивал все в меньшем количестве появлявшуюся воду в свои лейки из крана, приделанного к стене оранжереи.

Как-то утром он вошел в библиотеку с озабоченным лицом. Я уже освоился с его наречием, так что теперь я просто буду переводить:

— Сударь, — сказал он Гамбертену, — на нас свалилось новое несчастье... у нас появилась саранча.

Он стиснул зубы:

— А... грабительницы!.. они объели у меня мое лучшее дерево!..

— Пойдите, посмотрите, в чем дело, если вам это доставляет удовольствие, Дюпон; что касается меня, то я предпочитаю оставаться в тени, — сказал Гамбертен.

Малейшая деталь сельской жизни привлекательна для горожанина. Я пошел за Фомой.

Из всей богатейшей листвы индийского жасмина сохранился только маленький букетик листьев на самой верхушке. Внизу остались только голые остроконечные ветви; дерево напоминало объединенную рыбу кость.

— Зачем они это оставили, дряни! — повторял Дидим, — нет, почему они не все сожрали, паршивые!..

Ничего такого, что могло бы меня задержать надолго, не произошло. Я вернулся в комнату.

— Ну что? — спросил Гамбертен.

— Ну что? — повторил я. — Там — паровая баня; но какое это восхитительное зрелище — эта восточная лазурь неба, этот воздух, который ласкает вас, как живое существо, находящееся в лихорадке. Его можно ощупать, этот воздух, его видно, он колеблется перед глазами, как морская зыбь. Можно подумать, Гамбертен, что он двигается под звуки грандиозной спрятанной где-то арфы... арфы, звуки которой не слышны оттого, что они слишком низки по тембру.

— Ну вот! Ну вот! Недурная речь для палеонтолога. Вы были рождены, чтобы сделаться превосходным негром... или идеальнейшим ящером, вот и все, что это доказывает.

— Как это так?

— Да вот как! Жара по термометру 50 градусов. Так что климат, которым мы сейчас наслаждаемся, свойственен тропикам или вторичному периоду существования земли, так как в то время теперешняя экваториальная температура простиралась равномерно по всей земле, не меняясь соответственно временам года. Как бы вы себя тогда чувствовали, блуждая по лесу из гигантских папоротников или укрывшись под грибом величиной с дом Инвалидов!.. Правда, что солнце было еще туманно и менее ясно освещало пейзаж, правда, что водяные испарения частью скрывали их красоты, но разве всего этого было бы мало, для того, чтобы спеть, как вы: «Какая потрясающая громадина»... Как умно, что гордый человек догадался появиться много позднее!.. Вы представляете себе, как я, Гамбертен, карлик между пигмеями, пробираюсь в этих лесах. Да ведь мы-то с вами были бы блошками этих папоротников!..

Он увлекся. Я испытывал бесконечное удовольствие, слушая его рассказы, так что в этот день мы не вспоминали больше о саранче.

Эти насекомые продолжали свою разрушительную деятельность с приводящей в отчаяние настойчивостью, но довольно странным способом.

В десять ночей такое же количество индийских жасминов было лишено своей листвы, но каждый раз граница несъеденных листьев слегка повышалась, так что одиннадцатое дерево было объедено целиком вместе с верхушкой. Должен добавить, что все пораженные деревья были приблизительно одинаковой высоты.

Заинтересованный этими происшествиями, Гамбертен решил, наконец, выйти на порыжевшую от зноя поляну, чтобы посмотреть, в чем дело.

После краткого раздумья он сказал:

— Это, должно быть, особая разновидность африканской саранчи, занесенной сюда сирокко. Маленькие боковые жилки съедены... как странно... затем эти пучки листьев, которые они раньше оставляли на верхушках, а теперь не оставляют более... потом эти ночные выпады... На-

до разобраться, в чем тут дело, Дюпон; мы устроим сегодня ночью засаду и посмотрим, что из этого выйдет.

Я не смел отказаться; но на мой взгляд, Орм слишком часто служил ареной для всякого рода ненормальных явлений. Тут не было покоя, необходимого для хорошего пищеварения — и я охотно покинул бы эту местность. Я воздерживался только из вежливости.

— Хорошо, — сказал я, — будем выслеживать саранчу.

— Бедные листья, — заметил Гамбертен, — беззащитные листья...

— Неужели вы хотели бы, — сказал я, улыбаясь, — чтобы они были вооружены с ног до головы.

— Есть и такие, мой друг, — их ворсинки ошетиливаются, и когда безрассудное насекомое садится на них, ворсинки захватывают его и лист съедает насекомое.

— Не может быть!

— Это тоже остаток опыта природы; но, попробовав произвести такое растение, природа пришла к заключению, что опыт неудачен и не продолжала его.

— Как, существует плотоядное растение?

— Помните, Дюпон, что все органические вещества и существа происходят от одной и той же первичной материи; все, и вы, и я, и этот кусочек мха — все происходит от одного и того же. Сейчас вы отличаетесь от них колоссальным различием, но это различие с о з м е р и м о, а ваши предполагаемые предки, при условии, что они были современниками, тем меньше отличались друг от друга, чем ближе были по времени к нашему общему первичному предку...

— Да, студень, желе, сироп, — сказал я с отвращением...

— Ну да — протоплазма.

Я собирался высказать некоторые соображения, когда нас перебил прибежавший Фома. Его голос дрожал.

— Сударь, старая цистерна, что на ферме, пуста. Я хотел набрать там только что воды, потому что в моем колодце сегодня нет воды... И вдруг... там тоже ни капли...

— Ну что же... это от жары...

— Сударь, на прошлой неделе цистерна была полна до краев. Никакая жара не в состоянии осушить такой глубокий водоем в неделю. Тем более, что с двенадцати часов она в тени.

Я попытался пошутить и сказал не особенно убедительным тоном:

— Может быть, это тоже саранча...

Гамбертен пожал плечами:

— Говорю вам, что это от жары.

Затем он вернулся домой.

И действительно, цистерна превратилась в прямоугольную яму, увешанную мокрыми водорослями. На дне, в грязноватой луже, прыгали лягушки.

Я было тоже направился домой, как вдруг ржанье привлекло мое внимание в сторону конюшни. Несчастливая Жаба не выходила больше оттуда с тех пор, как раскопки были прекращены. Я пошел погладить ее. Она была совершенно взмылена, как лошадь, только что вернувшаяся после долгого пути, так что я сильно заподозрил Фому в том, что он плохо ходит за лошадью.

Я совершенно откровенно заявил об этом конюху.

— Сударь, — ответил он мне, — я давно уже не запрягал Жабу, а уход за ней лучше, чем за новорожденным ребенком. Если она тоща, то это происходит потому, что пища ей не впрок, а получает она полную меру, поверьте мне. Но представьте себе — может быть, и тут виновата жара — что с некоторого времени я всегда застаю ее в таком же виде всякий раз, как прихожу по утрам засыпать ей корм.

— Когда мы ездили в пещеру, — возразил я, — нам приходилось отправляться в путь довольно рано, а между тем на лошади не было ни одного мокрого волоска, несмотря на жару...

— Конечно нет! Это началось дней восемь тому назад...

— Восемь дней, — вскрикнул я. — Да что же здесь такое происходит за последнюю неделю?..

Приходилось мне в жизни присутствовать при отвратительных зрелищах. Но я не помню случая, чтобы ужас охватил меня с такой силой, как тогда.

Тут что-то крылось. Это уже было не только предположением. Совпадение сроков связывало события, по-видимому, не связанные друг с другом ничем, кроме какой-то внутренней цепи: странности. Все это должно было быть следствием одной и той же причины. Но какой? И могла ли эта причина быть не необыкновенной?

Господи Боже мой, в чем тут было дело?

Я вспомнил о саранче. Нужно было во что бы то ни стало выследить ее тайную работу.

День тянулся очень медленно. Меня охватило странное волнение, и я не мог оставаться подле Гамбертена. Я лихорадочно бегал по всему замку и вымышлял самые невероятные гипотезы. Всякий, кто когда-либо ждал ответа на вопрос чрезвычайной важности, поймет мое душевное состояние. Я убежден, что если бы нам грозило немедленное и тайное осуждение, я не волновался бы сильнее.

Обед прошел в молчании. Гамбертену не удалось вывести меня из моей озабоченной молчаливости. Я всей душой призывал ночь, надеясь, что она принесет с собой разгадку тайны.

Мы просидели не больше десяти минут за столом.

В этот момент отдаленный шум заставил меня насторожить уши. Гамбертен взглянул на меня.

Шум повторился. Он напоминал отвратительный скрип вагонных колес, которые внезапно затормозили.

— Вы очень бледны, Дюпон! Не больны ли вы?

— Этот... шум... Что это такое?.. Разве отсюда слышно, как проходят поезда?

— О, да успокойтесь же, Дюпон! У вас нервы молоденькой новобрачной. Возможно, да и очень может быть, что ветер дует со стороны станции... Свисток паровоза?..

— Да нет же — это не свисток!

— Да почему я знаю, наконец! На равнине постоянно занимаются разными работами, более или менее шумными...

— Звук доносится со стороны гор — я убежден в этом. Можно было бы допустить, что это эхо поезда, но...

— Знаете, что я вам скажу — вы трусы! Выпейте бокал вина и замолчите!

На этом наш разговор и кончился.

Три часа спустя наступила долгожданная ночь. Мы притаились в кустах, неподалеку от нетронутых еще деревьев.

Было так жарко, что казалось, будто находишься в огненной печи.

Мы не спускали глаз с неба, поджидая появления саранчи. Звезды сияли на славу.

Мы разговаривали шепотом. Гамбертен рассказал мне, что жаркая погода продолжает свое опустошительное действие: пропало еще несколько свиней. Солнце ли повлияло на их мозг, лес ли разбудил в них жажду к бродячей жизни — неизвестно; но в хлев они не вернулись. Кроме того, начинался неурожай и зимой неизбежно предстоял голод.

Несмотря на разговор, мы чувствовали, как нас мало-помалу охватывало оцепенение жаркой летней ночи. Саранча не показывалась, но звезды нас гипнотизировали.

Подкрепленный повторными отхлебываниями коньяку, я отдался во власть экстазу этого часа:

— Какое очарованье, Гамбертен!

Он, предвидя восторженную тираду, высмеял меня.

— Да, да, смейтесь, пожалуйста, — сказал я ему. — Дело в том, видите ли вы, что я глубоко люблю природу, точно мне угрожает возможность никогда не видеть ее больше, как выздоравливающий любит жизнь...

Треск ветвей сзади нас перебил меня. Мы вскочили на ноги, но наши глаза, ослепленные блеском звезд, не могли ничего различить в густой тени леса. Треск сучьев раздавался все дальше от нас... и прекратился.

— Черт возьми! — закричал Гамбертен. — Да держитесь же бодрее, Дюпон, что за мальчишество! Я слышу, как у вас зубы стучат. Причина этого шума — свинья, какая-нибудь заблудившаяся свинья, о которых я вам только что рассказывал.

— Вы думаете, что?..

— Ну конечно! Что же тут может быть другого?

Да, конечно, черт возьми, что же это может быть другого? Постоянно этот ужасный вопросительный знак!

Мы снова принялись стеречь.

Ни за какие блага мира я не согласился бы оторвать свой взор от небосвода. Я чувствовал, что моя нервная система возбуждена донельзя, так что я готов поверить всяким галлюцинациям. Мне казалось, что я вижу серебристое небо, усеянное черными точками.

Когда наступила зоря, я был весь в поту и дрожал, как Жаба.

Мы внимательно осмотрели все: но чуть смятые кусты не выдали своего секрета.

Гамбертен был убежден, что саранча почуяла наше присутствие. Уходя, он решил переменить тактику.

На следующую ночь мы устроились у окна коридора во втором этаже, откуда был виден весь парк.

К несчастью, луна взошла как раз против нашего окна, так что на темной массе леса деревья парка не были видны и можно было разглядеть только верхушки их, освещенные лунным светом; вдобавок невезенья, как раз в это время и произошло таинственное событие, которое нам так и не удалось разъяснить.

Сначала мы увидели, как зашевелилась верхушка одного дерева, и поняли, что, значит, низ этого дерева подвергся нападению, затем среди верхних ветвей, освещенных лунной, появилось нечто вроде большой птицы, и постепенно один за другим исчезли все листья. Но дерево так мало возвышалось над кучей остальных деревьев леса, что мы не могли разглядеть всю птицу целиком.

Таким образом, мы обладали одним, хотя и отрицательным элементом истины: саранчи не было.

Гамбертен задумался, наморщив лоб.

— А все же, — сказал я ему, — вчерашний шум... ну, знаете, шум железной дороги?..

— Ну, так что же?.. дальше?..

— А если... это... крик?

— Крик?.. Я слышал все голоса природы.... нет, это не

крик!.. Впрочем... пойдёмте спать, — сказал он внезапно. — Я сплю наяву!

Но он не лег спать. Его шаги раздавались безостановочно. И я, со своей стороны, бодрствовал, стараясь вывести заключение. Но все мои рассуждения ни к чему толковому не приводили.

При первых лучах солнца я побежал к деревьям и внимательно осмотрел их.

Я констатировал два факта.

Птица (?) не оставляла больше и жилок — у жертвы не оставалось ни малейшего намека на лист. Кроме того, на половине высоты дерева было содрано с него приблизительно около метра коры.

В остальном ничего особенного.

Какое вывести заключение? Я уселся на опушке леса в тени чинары, чтобы пораздумать внимательно над всем этим.

Лежавший на земле лист привлек мое внимание. Я поднял его. Он был вязок — можно было подумать, что он обмазан слюной, и на нем ясно виден был след точно от большой буквы V.

Этот отпечаток был мне знаком. Мне показалось, что мои глаза где-то видели такое же изображение. Где бы это могло быть?.. Ах, да! Гамбертен нарисовал его на стене... это было... да нет! не может быть!

Я бросился в оранжерею и сравнил отпечаток на листе с рисунком на стене. Сходство было поразительное... Чей-то клюв, совершенно подобный клювам игуанодонов, прикусил этот лист.

Вошел Гамбертен. Я, не находя слов и заикаясь, поделился с ним своим открытием.

— Да ведь это сумасшествие! — воскликнул он. — Живой игуанодон!

— Но послушайте, — возразил я, — речь идет вовсе не об этом: я думаю о птице, так как мы ведь видели птицу...

— Нет ни одной птицы, у которой клюв был бы так устроен!

Я предчувствовал невозможное и сказал помимо своей воли:

— Хорошо, пусть клюв исчез, но раз птица происходит от игуанодона, то не встречалось ли в доисторические времена птеродактилей, которые были снабжены такими же клювами?

— Никогда! Первые, взлетевшие на воздух, обладали клювами, снабженными клыками от края до края. Были ли они только плотоядными или всеядными — я не знаю. Во всяком случае, их укус оставлял след укуса зубами — за это я ручаюсь!

— В таком случае, Гамбертен, при данных обстоятельствах, одно из двух: или я сошел с ума, или в вашем парке прогуливается по ночам игуанодон.

— Но это недопустимо! Абсолютно недопустимо! — повторял Гамбертен.

Тем не менее, в его глазах блистал задорный огонек, и я видел, как безумно этому сумасшедшему маньяку хотелось, чтобы то, что он так страстно отрицал, оказалось правдой.

— Такое животное, такой тяжести, оставило бы следы своих шагов! — сказал он.

— Земля тверда, как камень!

— Да, но каким образом ящер мог бы дожить до нашей эпохи?

Я молчал, не зная, что ответить.

— Вы сами прекрасно видите, что это безумие... Безумие!

Он сравнил свой эскиз с листом:

— И вы утверждаете, что теперь уничтожаются и все жилки?.. Но почему же этого не было раньше?.. А на коре следы царапин когтей?.. Но почему раньше он не трогал верхушек деревьев?.. И эта пена!.. эта слюна, свойственная только жвачным!.. Дюпон, мне кажется, что я тоже начинаю сходить с ума! Ничего удивительного в этом нет, если принять во внимание это проклятое солнце. Нужно посоветоваться с каким-нибудь хладнокровным и рассудительным чело веком, чтобы убедиться, что мы оба не сошли с ума.

V.

С каким-нибудь рассудительным человеком — сказал Гамбертен.

На четыре лье в окружности не было иных рассудительных людей, кроме учителей и кюре. В нашей бедной деревушке не было школы, но зато была церковь, напоминавшая со своей колокольной большой сарай с голубятней на крыше. Старый священник недавно умер и был замещен кюре, только что окончившим семинарию. Случайно Гамбертен это знал, хотя обычно он мало интересовался тем, что происходит в нынешнем веке.

— Я не особенно долюбливаю духовенство, — сказал он, — я совершенно не разделяю их образа мыслей. Но этот еще молод; так как он еще не знает жизни, то, вероятно, пока еще искренен. Пойдемте поговорить с этим молодым пастырем.

Аббат Ридель принял нас с веселой снисходительностью, глядя нам прямо в глаза и не пряча от нас своих рук.

Мы заговорили о его прихожанах.

— Превосходные души, — сказал он, — но преследуемые страхом перед дьяволом. Не Бог их влечет к себе, а боязнь ада толкает их к небу. И это вполне понятно, потому что сатану они не видят, ни один кумир не изображает его, так что они с легкостью представляют себе его присутствие повсюду; тогда как изображение Бога они видят на каждом шагу... и не предвидят от Него никакой опасности для себя... О, ужас перед неизвестным, — какая это могучая сила!

Эти слова удивительно подходили к нашему положению. Гамбертен сделал мне незаметный знак глазами, и аббат Ридель занял место среди уважаемых нами лиц.

— Несчастье заключается в том, — продолжал он, — что мои предшественники пользовались этим страхом (да немало моих коллег и посейчас пользуется этим), чтобы привлечь свою паству в лоно церкви. Я не признаю этого метода и предо мной громадная задача...

— Не собираетесь ли вы, — вставил Гамбертен, — пользуясь тишиной сельской жизни, возобновить ваши любимые занятия? Углубиться в научные или литературные труды, которые вы предпочитали в семинарии?

— Я надеялся заняться археологией, — ответил священник, грустно улыбнувшись, — но я считаю, что все мое время принадлежит моей пастве, так что я теперь изучаю медицину...

— Ветеринарную? — позволил себе добавить Гамбертен. Кюре не обратил на это никакого внимания и продолжал:

— Доктор живет далеко и зимой, по снегу ему трудно приезжать, да и кроме того, заниматься археологией в этой местности, где нет ни одного памятника...

— Да, — сказал Гамбертен, — археология довольно хорошая вещь... это палеонтология жилищ... она начинается там, где первая кончается... Видите ли, господин кюре, я — палеонтолог.

— Я знаю это, граф.

— Да... палеонтолог... так что вы сами поймете, что во мне мало данных для церковного старосты.

— Отчего же? Я не вижу, почему одно мешает другому!

— Как? — воскликнул Гамбертен. — Как, вы хотите, чтобы я верил в то, что мир создан в семь дней, когда я вижу, касаюсь пальцами наглядных доказательств того, что он образовался очень медленно, постепенными тысячелетними наслоениями? Как я могу допустить возможность внезапного появления пары взрослых людей в старом лесу среди зрелых уже при создании плодов, когда все мои находки доказывают, что в азойскую эру существования земли нечем было дышать, что годы изменяют индивидуальность людей и что эволюция рас происходит на громадном промежутке времени? Наконец, чем объяснить эту Божью бездеятельность с... начала вечности... если можно так выразиться... А затем ваш так называемый всемирный потоп, который, в сущности, локализовался около горы Арарат!.. И этот Ноев ковчег, да, господин кюре, Ноев ковчег!..

— Милостивый государь, в то время, когда не считали еще, что без науки не может быть счастья, Святой Августин ответил бы вам: «Чудеса может творить только Господь. Их существование доказывает Его существование, а грандиозность их является только доказательством Его могущества». Но современникам уже мало слов Святого Августина, ведь с тех пор, как люди сделались такими образованными — они значительно улучшились — не правда ли? Ныне появились особые толкователи Библии ко всеобщему удовлетворению.

— Ага, господин «врач поневоле»* — вы изменили все это.

— Ничего подобного! Но слова Моисея, касающиеся мироздания, не представляют пересказа Божьих слов, а являются только его вдохновенной догадкой. Следовательно, допустимы все разъяснения их в тех случаях, когда Церковь не высказалась определенно...

И кюре затеял ученый спор, подробности которого я не могу припомнить, не смотря на все мое желание... Проклятая память!.. Во всяком случае, я помню, что спор затянулся и что Гамбертен, не желая прерывать его, увел кюре завтракать к себе, в замок.

Что касается меня, то я, несмотря на терзавшие меня мысли о таинственном посетителе, очень внимательно следил за спором, надеясь на то, что встречу в нем научное подтверждение догматов веры. Но я постоянно был одного мнения с тем, кто говорил, и, в конце концов, моя нерешительность возрастала по мере того, как с той и другой стороны увеличивались доказательства. В результате антагонисты соглашались по большинству вопросов, но, возвращаясь к началу мироздания и дойдя до вопроса, откуда взялись первичные клеточки, Гамбертен утверждал:

— До этого пункта наука была в состоянии все объяснить, следовательно, она осветит и это явление, как и дру-

* «Врач поневоле» — название одной из комедий Мольера (*Прим. пер.*).

гие, как только будет располагать достаточно могущественными способами исследования.

А кюре, опровергнув теорию внезапного самозарождения, отвечал:

— К чему же ждать сомнительного будущего, когда творческая воля Бога так просто рассеивает наши сомнения?

Мне казалось, что они вертятся в каком-то заколдованном кругу, причем они спорили с особенной горячностью, потому что имели слушателя.

Но один из упреков кюре был обоснованнее других: указывая на библиотеку, он обратил внимание Гамбертена на слишком односторонний подбор книг.

— Сколько у вас тут биологов и философов: Фламарион, Спенсер, Геккель, Дарвин, Дидро, Вольтер, даже Лукреций — этот дарвинист древних... Но для своей защиты я нахожу только Библию без комментариев, да детское издание Нового Завета... А где же Катрфаж, где..?

Гамбертен перебил его довольно невежливо и ответил, на мой взгляд довольно бестолково, что у него также нет и книг на китайском языке, потому что он не понимает по-китайски.

Спор привел его в возбужденное состояние. Полагая, что его раздражительность может довести его до грубостей, о которых он впоследствии пожалеет, я постарался отвлечь его внимание, указав на густые черные тучи, появившиеся на так долго бывшем безоблачным небе.

Кюре решил вернуться к себе до дождя.

— Ну что, — спросил Гамбертен после его ухода, — кажется, он не принял нас за сумасшедших?

— Скоро мы сами будем знать, как нужно относиться к этому вопросу. Взгляните!

Полил проливной дождь.

Прекратился он только на следующий день.

При виде освеженной листвы и повеселевших полей, Фома и его жена наполнили замок своею шумною радостью. Я думаю, что все окрестные жители разделили их радость и отпраздновали плодотворный дождь.

Нам этот дождь должен был помочь открыть тайну, и мы его благословляли.

С невинным видом вышедших прогуляться без определенной цели людей, чтобы не привлечь к себе внимания Фомы, мы направились к рощице индийских жасминов.

Грязь осталась девственно чистой, так что гипотеза о птице выплыла с новой убедительностью. Но бродя вокруг деревьев, мы были поражены видом чинара, стоявшего поодаль от этой рощицы: он претерпел участь остальных своих предшественников. Его ветви были обезлиственны до высоты остальных деревьев, а на коре были видны характерные царапины. У подножья дерева влажная истоптанная почва сохранила отпечатки лап гигантской птицы.

Это вовсе не устранило предположения о птице громадной величины, и я с ужасом стал думать о гигантском орле Синдбада-морехода из арабских сказок. Но мне пришлось в голову пойти по следам этого животного.

Местами следы были стерты, точно после прохода животного тут проволокли тяжелый мешок по земле.

— Может быть, эта борозда образовалась от хвоста? — сказал Гамбертен. — Но она недостаточно глубока. Значит, игуанодоны ходили не так, как кенгуру, опираясь на свой хвостовой придаток... Какая головоломка!

Случай пришел нам на помощь.

Порывом ветра наклонило тополь; в своем падении он уперся в мощный дуб, так что образовался косой портик. Животное прошло под ним; и в этом месте среди следов лап оказалось два отпечатка плоских рук, снабженных длинным утончающимся большим пальцем. Нагибаясь, животное на секунду встало на четыре ноги.

Сомнениям не оставалось больше места: это была не птица и не саранча — наш ночной посетитель был самый настоящий, самый несомненный игуанодон.

Ни одного слова не было произнесено. Но подтверждение факта, возможность которого мы, как-никак, предвидели, внезапно остановило наше преследование. Перепуганный приключением, я опустился прямо в грязь.

— Только не это, Дюпон, — сказал Гамбертен, — надо идти по следам, пока мы не найдем логовища зверя.

— Что вы там поете? — закричал я, придя в себя благодаря вспышке гнева. — Вы хотите вступить в бой с этим аллигатором, у которого к каждому пальцу приделано по сабле? С какой целью? И так видно, что его следы ведут к горе и даже прямо в пещеру! Он вышел из пещеры, ваш поганый зверь вышел из вашей поганой пещеры, слышите ли! А теперь вернемся домой, и поскорее! Я вовсе не жажду встречи, от одной мысли о которой меня охватывает ужас.

Гамбертен, пораженный моим бешенством, безропотно дал увести себя домой.

Как ни ужасно было то, что мы открыли, все же я чувствовал себя спокойнее после того, как тайна разъяснилась.

Когда мы очутились в библиотеке, Гамбертен воскликнул:

— Благодарю вас, Дюпон, вы помешали мне поступить неосторожно! Но сегодня — лучший день моей жизни. Сколько сомнений он рассеет... Но все же меня удивляет одна вещь, — добавил он другим тоном, — в ту ночь, когда мы видели птицу, она временами махала крыльями...

— Вспомните! — сказал я. — Его форма сливалась с тенью леса. Мы приняли за птицу голову игуанодона, шевелящего ушами...

— Уши у ящера! Вот это здорово! Вернее, что это были обрываемые листья, потому что не подлежит никакому сомнению, что мы видели голову. Вы правы!.. Но почему верхушки оставались сначала нетронутыми?.. Признаюсь, что ничего не понимаю...

Меня осенило вдохновение.

— Скажите пожалуйста, Гамбертен, ведь это животное не особенно большого роста в сравнении с остальными его породы?

— Нет! Судя по оставленным им следам, он приблизительно такого же роста, что тот игуанодон, скелет которого находится в оранжерее...

— Следовательно, — продолжал я, — наш сосед... молод?

— Ах, да... черт возьми!..

— Мне кажется, что этим можно было бы объяснить то, что он с каждым разом доставал все выше, так как он с каждым днем становился выше ростом...

— Это, конечно, подходящее объяснение, но оно идет вразрез с моим предположением.

— С каким?

— Я вспомнил о сообщении, что внутри булыжника нашли живых жаб... Ящерицы, к которым принадлежит и разновидность игуанодонов, братья бесхвостых гадов, а эти пресмыкающиеся отличаются исключительной живучестью; так что я предположил, что наш игуанодон мог быть заключен в скале, которая разбилась от недавнего землетрясения... Но в таком случае он должен был выйти на свет Божий совершенно взрослым, следовательно, громадного роста; разве только теснота его темницы или недостаток питания и притока воздуха атрофировали его...

Он подумал, затем добавил:

— Нет, это не то! То, что допустимо для нескольких лет, недопустимо для веков, а тем более для промежутка времени в сто раз большего. Жизнь все-таки имеет свои пределы, как бы они ни были растяжимы в известных случаях. Всякое существо начинает умирать с самого дня своего рождения...

— Следовательно...

— Я положительно теряюсь... В конце концов, эти животные настолько не похожи на нынешних...

— Не говорили ли вы мне, — сказал я вдруг, — что допотопные животные и растения имели кое-что общее между собой, причем общие черты были тем заметнее, чем ближе они приходились к их общему предку?

— Ну да!

— Во вторичную эру эти общие свойства?..

— Должны были быть еще довольно значительны.

— Ну, в таком случае, подождите немного. У меня мелькает надежда, что я что-то открыл. Что, я сам не знаю, но что-то я нашел!

Я выбежал из комнаты.

Через меньший срок, чем нужен для того, чтобы рассказать это, я примчался обратно, потрясая, как знаменем, номером журнала «Пулярда».

— Читайте, — крикнул я, указывая ему на статью: «Египетский прибор для высиживания цыплят».

Гамбертен внимательно прочел статью.

— Эге, — сказал он, окончив чтение, — я тоже вижу какую-то путеводную звездочку. Но давайте рассуждать. И, ради Бога, побольше хладнокровия.

Он поправил пенсне.

— Основываясь, с одной стороны, на истории с египетскими зернами, которые произросли после долгого периода бездеятельности; с другой стороны, на отдаленном сходстве между зерном растительного мира и яйцом животного, некий господин построил прибор, в котором куриные яйца могут лежать около трех месяцев, не теряя своей жизнеспособности.

Посмотрим, каким образом это происходит.

Зерна ржи, найденные в пирамиде, пролежали там четыре тысячи лет, или около того:

- 1) без света;
- 2) в постоянном соприкосновении с большим количеством воздуха;
- 3) в сухой атмосфере, предохраненные от сырости ежегодно разливающегося Нила толстыми стенами пирамид;
- 4) находясь все время в постоянной температуре, которая была все время ниже температуры окружающей пирамиду местности.

Прибору следует только подражать примеру пирамиды. И, действительно:

- 1) он темен;
- 2) воздух в нем постоянно возобновляется, потому что яйцо, пробывшее пятнадцать часов без притока свежего воздуха, гибнет;
- 3) приспособления, наполненные едкой известью, поглощают атмосферическую сырость;
- 4) грелки расположены таким образом, что в приборе поддерживается все время температура в 30 градусов, т. е.

та именно, которая недостаточно высока, но и недостаточно низка для того, чтобы прекратилась жизнеспособность яйца, но в то же время не достигает той температуры, которая необходима для того, чтобы начался процесс зарождения цыпленка.

Итак, вот при каких условиях находятся зерно в пирамиде и яйцо в приборе для того, чтобы мирно дремать, не умирая, но и не начиная жить.

Что же должно произойти для того, чтобы разбудить их, чтобы началось шествие к настоящей жизни?..

Свет? Он не необходим! Наоборот, зерно, находясь в земле, а яйцо — под курицей, не нуждаются в этом.

Воздух? Не в бóльшем количестве, чем то, что они имеют и без того.

Нужно больше тепла! Яйцо даже требует вполне определенной температуры.

Что же касается влажности, то яйцо, не нуждаясь в ней для развития при нормальных условиях, требует большого количества ее в случае запоздалой высадки, так как зародыш в этом случае сохнет; ну, а зерно постоянно, при всяких условиях требует большого количества влаги для произрастания.

Итак, при соблюдении этих условий, зерно даст ростки, а цыпленок запищит.

Теперь нам остается только применить к нашему случаю эту гениальную, но, должен сознаться, совершенно новую для меня теорию.

Зная, что жизнь колоса ржи, получаемого из зерна, продолжается около года, и что удалось заставить запоздать этот срок на четыре тысячи лет (приблизительный возраст пирамид), мы получим существование, которое запоздало на четыре тысячи раз своей продолжительности.

Для куриного яйца эти цифры сильно понижаются (на пять лет нормального существования — опоздание всего-навсего на три месяца).

Но мы имеем дело с игуанодоном, то есть существом, хотя и несущим яйца, но все же отчасти в некотором роде принадлежащим к растительному миру — существом, нахо-

дящимся приблизительно на равном расстоянии по времени от нас и от первичной протоплазмы. Таким образом, он наполовину больше принадлежит к растительному миру, чем теперешние животные.

Итак, допустим, приняв во внимание все вышесказанное, что яйцо игуанодона — яйцо постольку же, насколько и зерно, — может пробыть, не портясь, в состоянии бездействия не в четыре тысячи раз больше, а только в две тысячи раз больше своего нормального существования.

Но сколько лет могли прожить ящерицы?

Эти животные втрое больше слона — надо думать, что и жить они могли втрое дольше. Я слышал, что есть слоны, которым не меньше двухсот лет.

С другой стороны, ящерицы принадлежали к породе пресмыкающихся, продолжительность жизни которых просто парадоксальна.

Обратив внимание на оба эти явления, я полагаю — не будет преувеличением, если я скажу, что, будь они только громадного роста, ящерицы должны были бы жить по крайней мере пятьсот лет, что, в сущности, даже не составляет полной тройной жизни слона, но они были также пресмыкающимися, и это, вероятно, удваивало продолжительность их жизни; но я хочу быть скромным и поэтому прибавлю не пять веков, а только два.

Итак, они жили, по крайней мере, семьсот лет.

А мы имеем возможность задержать высиживание их яйца на срок в две тысячи раз больший, чем продолжительность их жизни, что дает нам цифру в миллион четыреста тысяч лет.

— А довольно ли этого? — спросил я, ослепленный цифрой.

— Даже слишком много! Середина вторичной эры, судя по плотности слоев, находится от нас на расстоянии только миллиона трехсот шестидесяти тысяч лет... Теперь я задаю себе вопрос, каким образом яйцо игуанодона могло очутиться в нужных условиях для того, чтобы пролежать такой долгий срок, не портясь, и почему он внезапно вылупился из яйца.

— Прежде всего, — заметил я, — надо было бы знать, какая температура нужна для высиживания яиц его породы?

— Эти животные не высиживали яиц, — сказал строго Гамбертен. — Как большая часть их сородичей, за исключением игуаны, они оставляли свои яйца на открытом воздухе. Впрочем, если бы они даже и высиживали их, это ничего не меняет в наших данных. Это были животные с холодной кровью, и поэтому они применялись к окружающей температуре.

— А она была...

— Повсюду 50 градусов, я говорил вам уже об этом, температура наших тропиков. Так что эти животные с холодной кровью были горячее нас. Если применить к нашей задаче условия вашего прибора, о котором говорится в журнале, то температура сна для яйца игуанодона должна колебаться между 40 и 50 градусами. Нужно допустить, что слой более холодного воздуха окутал это яйцо, как только оно было снесено...

— Черт возьми, да обвал же, — закричал я.

— Возможно... Обвал, как вы сами убедились, оставил ряд полых пространств между громадами скал. Яйцо чудом сохранилось в одной из этих пустот, а это несомненно чудо, потому что достаточно было малейшего толчка, чтобы разбить это яйцо без скорлупы. В глубине подземных галерей, вероятно, поддерживалась однообразная температура, благодаря соседству вулкана; там было темно, а воздух возобновлялся благодаря входному отверстию. Обозначался идеальный прибор.

— Да, но почему он вылупился?

— О, это совсем просто! Кипящая лава вызвала недавно маленькое землетрясение. Вы помните, что тогда в пещере появилась влажность, а воздух нагрелся до такой степени, что стало жарче, чем снаружи; затем установилась продолжительная жара, градусов, должно быть, в 50. Сначала яйцо переносило эту температуру, а затем к этому, должно быть, присоединились испарения ручья — и жизнь восстановилась в этом растительном яйце, или, если хотите, животном зерне.

Все возражения отпали: безошибочный расчет приводил нас к неопровержимому заключению. Пришлось примириться с фантастической правдой и согласиться, что дважды два не четыре, а $a + b^*$.

Я продолжал испытывать блаженный покой: я знал, в чем дело.

Гамбертен продолжал:

— Игуанодон сможет прожить до наступления холодов; исключительная жара этого лета дает ему эту возможность. Умеренное лето убило бы его. Но он любит болотистые местности — сухие места вредны для него. К счастью, сушь уменьшается, а кроме того, я убежден, что он пользуется для утоления жажды и купания подземным ручьем. И это большое счастье, потому что он нуждается в громадном количестве воды; держу пари, что это он выпил воду из старой цистерны, того же происхождения и пена нашей старой Жабы — она обмирала от страха при виде этого чудовища... Теперь я хотел бы знать, почему его не видно при свете дня... А, знаю! Его глаза устроены так, что привыкли к свету неяркого солнца, смягченному вечными туманами. Наш яркий свет ослепляет его. Он выносит только свет ночи, зари и заката солнца.

Я спросил:

— Вы догадываетесь, почему он заходит так далеко от пещеры? Из предосторожности ему следовало бы оставаться в лесу, поближе к пещере.

* Господин Дюпон придавал громадное значение тому, чтобы все расчеты были напечатаны. По нашей настоятельной просьбе он согласился пожертвовать ими. Он даже согласился для большей понятности исключить кое-какие побочные доказательства, а остальные сократил по возможности. С той же целью всякий раз, когда это можно было сделать без вреда для точности изложения, он отбрасывал дроби и ставил круглые цифры. Может быть, он напечатает в другом месте эти подробные расчеты; у него имеется очень занимательная теория псевдо-Гамбертена о сродстве человека двадцатого столетия с растительным миром (*Примечание издателя этих записок*).

— Он искал листьев понежнее, так как его клюв еще недоразвит. В поисках нежной пищи он добрался до индийского жасмина, затем, когда его клюв затвердел, он принялся за чинары. Вы сами констатировали его первый опыт с этим деревом. Я не нахожу больше ничего непонятного в этой истории. А вы, Дюпон?

Я внезапно схватил его за руку:

— Гамбертен, а если их там несколько?

— Они все равно все умрут через несколько недель, осенью. Но он один.

— Откуда вы это берете?

— Следите за мной хорошенько: если бы каким-нибудь сверхъестественным способом — чудом — от обвала сохранилось бы несколько яиц и, если бы их постигла участь яйца нашего игуанодона, то все животные вылупились бы одновременно, так как условия зарождения были бы тождественны для всех и до этого времени не встречались еще. Эти животные, появившись одновременно на свет Божий, почувствовали бы одновременно голод, и инстинкт привел бы их одновременно к тому же месту. Они явились бы все вместе объедать наши деревья. А между тем...

— Да, но представьте себе, — возразил я, — что дело шло бы не об игуанодонах, а о других каких-нибудь ящерицах, ну, например, о компсоньятах...

— В этом случае их присутствие проявилось бы каким-нибудь образом, будьте в этом уверены. Но предполагать это значит понапрасну создавать себе обстановку для страха. Подумайте только о тысячах случайностей, которые должны были совпасть, чтобы сделать возможным рождение в наш век игуанодона. Было бы безумием допустить, что те же случайности могут повториться несколько раз...

Мне показалось, что это объяснение страдает большими недостатками. Но должен сознаться, что мой страх покоился на слишком шатком основании, а действительность была настолько интересна, что не оставляла места для фантастических предположений в другой области.

К тому же, Гамбертен отвлек мои мысли в другую сторону. Он решил поймать игуанодона живым, и мы приду-

мывали способ заманить его в пустой сарай, чтобы запелить его там.

Гамбертен каждые десять минут предлагал новый план, но мы тут же убеждались в его неосуществимости. Я лично не сумел предложить ничего, чувствуя, что я ни с какой стороны не приспособлен к охоте на анахронизм.

Мы увидели игуанодона двадцатого июля, около полуночи. Мы стояли у окна коридора, во втором этаже, откуда виден лес.

Животное переходило через лужайку, направляясь к цистерне. Если оно не пользовалось подземным ручьем, то должно было сильно страдать от недостатка воды, так как жара все усиливалась, а грозы хотя и быстро следовали одна за другой, но мало помогали.

Вопреки мнению натуралистов-палеонтологов, у игуанодона оказались уши такие же, как у лошади, или, вернее, у гишпопотама. Он передвигался, шагая торжественной и в то же время смешной походкой, таща за собой хвост, напоминая не столько настоящего дракона, сколько форму его, обтянутую парусиной, в которую наряжаются статисты, изображая дракона на подмостках; ноги его передвигались так же, как наши, но казались слишком маленькими для такого грузного и громоздкого туловища; что же касается рук, то они глупо и бесцельно болтались, как у манекена.

В общем, он производил впечатление гигантского, громоздкого и смешного существа.

Мы стояли совершенно тихо, не шевелясь.

Вдруг страшно взволнованный Гамбертен начал делать: — Псст! Псст! Псст!

Точно так, как подзывают кошку.

Я грубо зажал ему рот рукой.

Чудовище, остановившись, глядело на нас, выставив вперед свои ужасные большие пальцы. Затем, повернувшись к нам спиной, оно побежало, переваливаясь с ноги на ногу, как пингвин, двигая руками, как птица машет крыльями.

— Смотрите, смотрите! — кричал Гамбертен вне себя. — Стремление полететь! Он хотел бы взлететь... и это стрем-

ление вызовет удлинение пальцев... и его потомки полетят...

— Гамбертен, Гамбертен, что вы наделали!

Мой друг посмотрел на меня со странным выражением в глазах.

— Я хотел пошутить, — сказал он наконец. — Нечего бояться какого-то травоядного...

— Но его большие пальцы!..

— Пустое, он не может меня достать на высоте второго этажа в окне, от которого я каждую минуту могу отойти...

— Это, положим, правда, но какая...

Меня перебил пронзительный, свирепый крик неслыханной силы; действительно, он напоминал звук трения колеса об рельсы, звук, который произвел на меня такое впечатление как-то за обедом, но это сравнение было в данном случае неприменимо. Если бы обвал мог быть, то он бы издал крик такой силы. Получалось впечатление, точно тишину что-то прорезало, как молния спокойное небо. По моему мнению, животное зарычало у пещеры перед тем, как войти в нее.

С боязливым нетерпением, с неуспокоившейся еще болью в ушах, мы ждали повторения крика. Но все было тщетно.

Гамбертен пробормотал:

— Я никогда не предполагал, чтобы глотка игуанодона могла издавать такие звуки. Обратили ли вы внимание на оттенок злобы? Я думаю, что он недоволен моей маленькой шуткой... Уверяю вас, что это была простая шутка. Надо будет на будущее время принять меры предосторожности...

Мы были до такой степени взволнованы, что звук открываемой двери заставил нас привскочить. Фома и его жена вбежали в одних рубашках, напуганные криком.

Гамбертен, погруженный в свои мысли, не обратил на них никакого внимания. Я и сам был не меньше взволнован, так что мне с трудом удалось их успокоить.

— Ступайте обратно и ложитесь спать. Нам не угрожает никакая опасность. Должно быть, сбежавшие свиньи дерут-

ся и крик их показался особенно ужасным благодаря молчанию и мраку ночи. Теперь все кончено, вы слышите, что все утихло. Только надо воздержаться на некоторое время от прогулок по лесу, потому что, должно быть, это взбесившиеся свиньи. Лучше не встречаться с ними.

Наконец супруги решились уйти.

Гамбертен продолжал стоять у окна, внимательно приглядываясь к лесу.

— Ну довольно, — сказал я, — пойдете спать!

Я положил ему руку на плечо. Но он, не оглядываясь, лягнул меня ногой. Очень спокойным тоном он разговаривал сам с собой:

— Я должен поймать его; хоть один день я должен иметь возможность изучить его в живом виде... потом хорошо будет его анатомировать... я составлю описание... и мое сочинение займет место в библиотеках между Дарвином и Кювье...

— Гамбертен, — умоляющим тоном сказал я.

Он повернулся ко мне:

— Идиот! Что вам, трудно придумать западню, вы, торговец велосипедами, болван, получеловек!..

— Гамбертен, пойдете. Я придумаю западню, это решенное дело. Мне уже кое-что пришло на ум... трапп... завтра я объясню вам систему, если вы сейчас мирно ляжете спать.

После долгих уговоров мне удалось увести его, а затем и уложить спать.

Приключение принимало трагический оттенок.

Следующие дни я не спускал глаз с моего друга.

Боясь губительного действия солнечных лучей на него, я всякими ухищрениями удерживал его днем в замке и тщательно оберегал его от возможности встречи с игуанодоним ночью. Мы много разговаривали о чудовище, но бе-

седы велись в спокойном тоне и рассуждения Гамбертена указывали на то, что его рассудок совершенно в порядке. Я решил, что припадок был временным. К тому же, судьба пришла мне на помощь. Я заметил, что мои ночные предосторожности были излишни: игуанодон исчез. Цистерна заполнялась дождевой водой, лошадь не покрывалась больше пеной по утрам, никто не пожирал больше деревьев, крики не повторялись, не появлялось свежих следов после дождей.

Прошло несколько дней.

По всему можно было предположить, что животное куда-то исчезло, может быть, умерло.

Все-таки было бы грешно не воспользоваться этим представившимся случаем, вероятно, единственным в жизни человечества, анатомировать последнего игуанодона, единственного оставшегося в живых представителя вторичной эры существования земли. Боязнь, чтобы, умерев без нашего ведома, он не сделался добычей хищных животных, вынудила меня предложить Гамбертену свои услуги, чтобы пойти одному днем посмотреть, что делается около пещеры. Должен признаться, что смерть чудовища казалась мне несомненной. Ответ Гамбертена изумил меня и обрадовал, так как доказывал его полное выздоровление.

— И не думайте делать этого, — сказал он. — А что, если его отсутствие представляет собою военную хитрость?.. Может быть, глаза игуанодона привыкли к современному солнцу; что вас тогда спасет от верной смерти? Как раз теперь климат великолепно подходит для его нормального существования: все время держится тропическая жара и по временам перепадает дождь... Очень возможно, что чудовище обосновалось вблизи какого-нибудь отдаленного болота в лесу... Кроме того, оно молодо, полно сил и прекрасно приспособлено к тому, чтобы свыкнуться даже с неблагоприятными для него условиями современной жизни. Вы возрадите мне, что зародыш был стар и что животное достаточно долго прожило во чреве своего яйца для того, чтобы появиться на свет уже, так сказать, старцем... Но последний раз, когда мы его видели, оно выглядело здо-

ровым, крепким, гибким... и растущим с невероятной быстротой. Значит, остается предположение о насильственной смерти. Но я его устраняю, так как никто — какое счастье, Создатель! — никто, ни крестьяне, ни охотники не бывают в лесу с тех пор, как появились эти взбесившиеся свиньи... Фома распространил эту легенду и с тех пор крестьяне до того перепугались, что одни перестали выпускать свиней на пастбище, а другие пожертвовали ими и не пускают их домой, прогоняя обратно в лес, боясь занесения заразы...

— Странный прием!..

— Ну что же, они верят в дьявола, от которого приходят, по их мнению, все несчастья: засуха и наводнение, жажда и водобоязнь; изгоняя своих зараженных, следовательно, одержимых, свиней, они в то же время избавляются от дьявола... Это бедные, несчастные люди, Дюпон, они стоят на уровне развития средневековых крестьян... не надо опускаться до их уровня развития, решаясь на безрассудные предприятия. Так что послушайте меня и оставайтесь дома. Приближающаяся осень наверное убьет игуанодона. Тогда, когда термометр укажет градус его смерти, мы пойдем его отыскивать.

— Ах, старый дружище Гамбертен! Вот вы, наконец, совсем образумились!

Он осмотрел меня с ног до головы:

— Разве я не всегда был таким?

VI.

Аббат Ридель частенько навещал нас. Его неизменно вежливые споры с Гамбертеном были наслаждением для слушателя. Я с глубоким уважением прислушивался к ним и часто вызывал их сам на спор, хотя не мог присоединиться ни к тому, ни к другому.

Уверенность в том, что эта, милая моему сердцу, почва Франции существовала не всегда и не будет существовать

до конца мира, не могла умалить моей привязанности к родине — таковой, как я ее знал; разве моряк не любит свою эфемерную родину — корабль, и разве это не патриотизм своего рода?!

Мысль, что, может быть, человек не был им много веков тому назад и не будет им больше в отдаленнейшем будущем, вовсе не соблазняла меня и не заставляла желать, чтобы скорее наступило объединение всех существ в одну общую семью.

Несмотря на предсказание моего друга, я вовсе не становился анархистом, да и атеизм плохо прививался ко мне благодаря возражениям кюре, который, к слову сказать, самым энергичным образом протестовал против рассказов об эволюции человека.

Самому Гамбертену стали теперь приятны посещения его противника, и наши собрания делались день ото дня милее нам всем, по мере того, как уверенность в том, что мы избавились от чудовища, укреплялась в сознании Гамбертена и моем. После пятинедельного покоя, мы вполне наслаждались, наконец, нашей тихой и мирной жизнью под этим тропическим небом, и мой отдых стал, наконец, не пустым словом.

Как-то Гамбертен сказал мне:

— Вот и тридцатое августа; право, я начинаю думать, что наше чудовище и в самом деле не существует больше... Можно пригласить кюре к обеду. Я не делал этого до сих пор, потому что мне было бы тяжело отпустить его ночью домой — ведь ему приходится проходить по опушке леса... Сходимте к нему и спросим, не согласится ли он сегодня вечером пообедать у нас.

Так мы и сделали. Кюре принял наше приглашение и обед прошел очень весело и оживленно.

Часов около одиннадцати, когда оба чемпиона истощили запас своих аргументов и опорожнили несколько бутылок старого вина, аббат Ридель поднялся, чтобы распрощаться. Тут я заметил, что Гамбертен, провожая его, переменялся в цвете лица. Он открыл выходную дверь: ночь

была так темна, что, казалось, будто он открыл дверь, ведущую в погреб.

— Господин кюре, — сказал он, — вам не везет: как только вы достаиваете своим присутствием нашу трапезу, вы вызываете грозу. Вам невозможно уйти в такую погоду.

— Да нет же, — возразил тот, — я доберусь домой до дождя, только мне надо торопиться...

— Нет, господин кюре, вы не уйдете, — сказал решительным тоном Гамбертен. — Это значило бы искушать дьявола; я положительно не могу вас отпустить.

— Но...

— Вы переночуете в замке, в комнате, находящейся между моей комнатой и комнатой Дюпона; она совершенно готова к приему друзей. Завтра утром вас разбудят и вы пойдете в церковь прямо отсюда.

Пришлось подчиниться его решению.

Впрочем, не успели мы разойтись по нашим комнатам, как разразилась гроза и град застучал по стеклам наших окон.

Славный священник даже и не подозревал о наших тайных волнениях. Скоро я услышал его храп за стеной.

Хотя внезапное решение Гамбертена и привело меня в замешательство, но я не мог не согласиться с ним; я тоже чувствовал себя спокойнее от сознания, что аббат здесь, около нас, под защитой крепких стен, а не в темном лесу, совершенно одинокий и беззащитный. Но я не мог заснуть. Ни на чем не основанный и внезапный страх моего друга разбудил в моей душе уснувшие было сомнения на его счет. А кроме того, и гроза разбушевалась с невероятной силой. Молнии ежеминутно бороздили небо и освещали комнату своим фиолетовым светом; кюре проснулся: я услышал, как он зажигал огонь. Дождь лил, как из ведра... Наконец ураган стих, молнии стали реже, треск дождя перешел в тихий шепот, напоминающей колыбельную песню...

Я закрыл глаза...

— Псст! Псст!

Мне показалось, что меня душит кошмар.

— Псст! Псст!

Что же это такое? Я сел на кровати и прислушивался.

Снова. «Псст! Псст!» — раздалось где-то на равнине, как мне показалось. Я бросился к окну. Во мраке ночи ничего нельзя было разглядеть, только виден был слабый блеск двух каких-то точек... Вдруг блеснула молния...

На равнине возвышалась какая-то монументальная громада. Я задрожал. При блеске следующей молнии я увидел игуанодона, сделавшегося громадным, как замок, и не сводившего с него глаз.

— Псст! Псст!

«Ах, Гамбертен!» — подумал я.

При перемежающемся блеске молний мне удалось кое-как разглядеть, в чем дело... Я бесшумно открыл окно и взглянул на окно Гамбертена. Несчастный! Он высунулся из окна. Я ясно видел его, так как у него в комнате горел огонь. Он высовывался из окна и дразнил чудовище, как кошку... Я похолодел от ужаса... Я крикнул ему как мог тише:

— Гамбертен, берегитесь!

— Бросьте, нет никакой опасности! Это что-то вроде коровы, мирное, жвачное, травоядное животное! Я не на таких насмотрелся в джунглях*. Впрочем, я и не могу... Псст! Эй, безобразная харя! Эй, голова водосточной трубы, псст!

В этот момент продолжительная молния осветила игуанодона. Я затрепетал, точно от электрического удара: я не узнал рук игуанодона, на концах больших пальцев не было кинжалов. В моем мозгу вихрем закрубились обрывки мыслей: исчезнувшие бесследно свиньи... ложное заключение Гамбертена о невозможности одновременного появления нескольких животных... продолжительное отсутствие игуанодона — этого Авеля мегалозавра Каина...

— Берегитесь, Гамбертен, — это мегалозавр!..

И я бросился от своего окна к двери, чтобы бежать на помощь к моему бедному другу. Когда я выбегал из комнаты,

* Джунгли — девственные леса Индии, в которых кишмя кишат хищные звери.

я услышал сухой треск ставни, ударившейся об стену. Я приписал это внезапному порыву ветра.

— Гамбертен! Гамбертен!

Я пробежал мимо двери комнаты юре. Создатель мой, что он только подумает! И без долгих размышлений, заметив ключ в замке, я запер комнату. Теперь я очутился перед комнатой Гамбертена и открыл дверь. Но, охваченный непреодолимым чувством, я неподвижно остановился, не входя в нее.

— Гамбертен!

Он продолжал стоять, высунувшись в свое широкое окно, не отвечая.

— Гамбертен! — повторил я умоляющим голосом. Затем сказал твердо и решительно:

— Уходите, идемте со мной! Гамбертен, я требую этого, я приказываю вам.

Ни звука. Упрямец не повел ухом. Он высовывался, почти вываливаясь из окна, точно разглядывая что-то на земле. Я мог видеть только его узкую спину в перспективе.

— Не высовывайтесь так, мой друг! Говорю вам, что это мегалозавр. На что вы там так внимательно смотрите на земле?

Вдруг я стал пятиться, пока не уперся спиной в стену коридора: гигантская голова ящера коснулась несчастного, а он даже не пошевелился. Одним толчком своего зеленоватого рыла мегалозавр опрокинул на пол Гамбертена. Тут я понял происхождение сухого треска: мощные челюсти животного уже обезглавили его.

Голова мегалозавра — отвратительная голова грандиозной черепахи — заполнив весь просвет окна, влезла в комнату. Производя невероятный шум из-за опрокидываемой мебели, она принялась неловко перекачивать труп со стороны на сторону, пока ей не удалось схватить его за полу пиджака. Ее роговидные, не приспособленные к захватным движениям губы сильно затрудняли производство этой операции, но, как только ей удалось захватить платье, она моментально, резким движением, проглотила бедное

тело. Послышался ужасный треск костей, шум глотания... и в вялый зоб чудовища проскользнул шар...

Тогда оно меня увидело.

До этого момента я оставался на месте под влиянием любопытства, а в особенности чувства страха, от которого у меня буквально подкашивались ноги, но тут случилось нечто совсем другое, что принудило меня остаться.

Зеленые глаза мегалозавра, напоминавшие отвратительные фосфоресцирующие глаза спрута-осьминога, уставившись на меня, притягивали меня, как змея славку. Если бы эти взгляды метали огонь, то и тогда я не был бы крепче пригвожден к стене.

Голова приближалась ко мне. Стоя неподвижно, я слышал биение своего сердца и чувствовал напряжение своих нервов...

Вдруг безумная радость надежды охватила меня: голова уперлась в дверь, которая оказалась слишком мала для ее прохода. Животное попыталось втиснуть свою голову в отверстие двери — тщетная попытка! Тем не менее, оно не отказывалось от своего намерения и мы продолжали находиться один против другого — я приклеенный к стене, на расстоянии полутора метров от его глотки, упершейся справа и слева в косяки двери. Чудовище тяжело задышало, точно изнемогая от напряженных усилий — перегорodka жалобно застонала... Я почувствовал, что леденею... Но, благодаренье небу! неловкое положение чудовища, по-видимому, помешало ему, так что оно отказалось от мысли разрушить препятствие. Я до сих пор не могу решить вопроса, не было ли это милостью Провидения. Какой-нибудь пустяк, один только шаг в сторону мог бы меня спасти, а я стоял безвольный, похолодевший, застывший, как человек из льда, если можно так выразиться, не будучи в состоянии отвести глаз от притягивавшего меня взгляда чудовища; и я предчувствовал, что через секунду мне придется последовать за своими глазами и пойти в эту глотку — в эту тень; как вдруг я почувствовал неожиданное прикосновение, терпкое и клейкое — что-то вроде прикосновения мягкой терки пробежало по мне от головы до

ног: мегалозавр меня облизывал. Он старался ухватить меня своим нервным языком, который ежесекундно менял форму, становясь то остроконечным, то тупым, отступал и приближался и пробовал всяческие ухищрения; а я изо всех сил прижимался к стене, стараясь помешать этому проклятому языку проскользнуть между стеной и моей шеей. Омерзительной ласке все же удалось пробраться за мою шею — получилось впечатление, точно у меня за шеей выросла мягкая, тепловатая, мокрая подушка. Резким движением отвратительный кусок мяса заставил меня поклониться. В этом было мое спасение. Мои глаза оторвались от его взгляда... очарование было нарушено. Я бросился в сторону, в мрак коридора, скорее скатываясь, нежели пользуясь ногами и упал; а мегалозавр испустил свой ужасный крик вагонных колес, трущихся об рельсы, от которого поллопались все стекла в замке.

Я не упал в обморок, но был до того разбит от усталости, что это было почти одно и то же.

Я смутно соображал, что аббат Ридель взламывает не знаю чем свою дверь, берет меня на руки и переносит на мою кровать. Я так же смутно припоминаю вход обалдевшего Фомы и его жены, которым кюре предложил тихо усесться в углу комнаты... Аббат с бесконечными предосторожностями подошел к окну и закрыл его; так как в момент крика оно было открыто, стекла остались в нем целы. Затем он вернулся ко мне.

— Ушел ли он? — пробормотал я.

— Кто?

— Мег... Животное?

— Да. Но вам нужен покой!

— Гамбертен тоже исчез, — сказал я.

Я разрыдался, что принесло мне громадное облегчение. Это было похоже на оживление статуи; мне казалось, что я превращаюсь из камня в живого человека.

Вместе с тем ко мне вернулась способность рассуждать, и я сам себя спрашивал, каким образом мы не заподозри-

ли настоящего положения вещей. А между тем, немало признаков должно было нас заставить бояться именно этого.

Прежде всего, знаменитые выводы Гамбертена не выдерживали ни малейшей критики. Изю всех чудес, необходимых для сохранения и развития яйца допотопного периода, для объяснения появления двух ископаемых, нужно было совпадение всего только двух условий:

- 1) Чтобы яйцо было снесено как раз перед обвалом и
- 2) Чтобы оно не было раздавлено при обвале.

Так как оба эти условия были необходимы для каждого яйца в отдельности, то только они и должны были бы повториться. Но, если допустить возможность этого, то все остальные условия, как например температура, сухость, темнота, проветривание и все прочее были общими для обоих зародышей; и если бы от обвала сохранилось сорок только что снесенных яиц, то изю всех сорока могли бы вылупиться звереныши.

Затем, исчезновение свиней должно было бы указать нам на присутствие в этой местности хищного животного, но одного только, так как количество исчезнувших свиней не превышало количества, необходимого для удовлетворения аппетита только одного гигантского животного.

Наконец, исчезновение игуанодона, добычи, соответствующей аппетиту едока, было третьим указанием.

Я размышлял об этом не особенно последовательно, так как эти мысли смешивались с другими; среди смутных, смещающих одна другую картин меня преследовало неизгладимое нелепое изображение: барометр, висевший на стене моей одинокой квартиры на бульваре Севастополя; я ясно видел передвижение его стрелки, отмечающее маленькими прыжками вероятную погоду на отвратительном фосфоресцирующем циферблате. В ушах у меня нестерпимо звенело, глазные мышцы — вероятно, и глазной нерв — мучительно ныли. Но все это были пустяки. Кюре дал мне чего-то выпить и мысли мои совершенно прояснились.

Когда комната осветилась слабым светом зари, Фома, его жена и кюре стояли у моей кровати, а я оканчивал свой

рассказ обо всем том, что произошло с самого моего приезда, со всеми подробностями.

Тогда заговорил аббат Ридель:

— Прежде всего, надо уничтожить чудовищ!

— О, — возразил я, — по моему глубокому убеждению, игуанодон не существует больше.

— Это мы увидим. Во всяком случае, мегалозавр теперь знает вкус человеческого мяса. Вы представляете себе, что будет, если он каждую ночь станет приходить?.. Этого нельзя допускать, особенно принимая во внимание суеверие крестьян. Его надо уничтожить... сегодня же. Но каким образом?..

— Можно было бы устроить облаву, — сказал я. — При большом количестве...

— Большое количество — недопустимо. Если крестьяне узнают, что случилось, вся местность опустеет к завтрашнему дню. Они подумают, что это дьявол и откажутся от борьбы.

И тут же кюре заставил Фому и его жену поклясться, что они будут немы, как рыбы.

— Что делать? — продолжал он. — Нас всего трое...

— Трое? — повторил Фома, бледнея.

— Ну, пусть будет так. Нас всего только двое теперь.

Мучительная боль в ушах и глазах вдруг усилилась. Я напрягал все усилия, чтобы придумать удачный план борьбы, а главное — безопасный.

— Господин кюре, — сказал я, — судя по тому часу, когда случилось несчастье, животное продолжает возвращаться в пещеру для дневного отдыха. По-видимому, оно по-прежнему не может выходить днем, пока не стемнеет. Следовательно, речь может идти только о ночной засаде. Но день целиком в нашем распоряжении.

— Нельзя ли вырыть перед входом скрытую яму?

— Конечно! Но отверстие пещеры шириной по крайней мере в сто метров, а наша дичь ростом футов в сорок пять... я сомневаюсь, чтобы вдвоем можно было в двенадцать часов вырыть...

— Не будем больше говорить об этом, я просто рассеянный человек. Но что же делать в таком случае?

— Послушайте, вот мое предложение. Вы знаете, что пещера служит входом в стену, которая круто заканчивает склон горы. Эта стена тянется довольно далеко направо и налево от пещеры и понижается до уровня окружающей почвы только на расстоянии нескольких километров от пещеры. Стена эта гораздо выше мегалозавра. Я не думаю, чтобы он мог дотянуться до верха стены, где мы устроим наш сторожевой пункт. Там мы подождем выхода животного и как только оно покажется — пли!.. Представьте себе даже, что мы промахнемся — и то ему придется употребить больше времени на то, чтобы обежать кругом скалы — если только это придет ему в голову — чем нам, чтобы спастись от него.

— Это великолепно придумано! — воскликнул кюре. — Но ружья...

Фома пролепетал:

— Есть ружья барина... которые он привез из своих путешествий...

— Принесите их, — сказал я.

— Но они... в бариновой комнате...

При этих словах мы переглянулись. Наконец, кюре решился и скоро вернулся с двумя винтовками и разрывными пулями.

— Лучшего оружия и не придумаешь, — сказал он.

И действительно, когда я впоследствии навел справки, то оказалось, что одно ружье было американской винтовкой для охоты на крупных хищников, а другое — магазинным штуцером Винчестера.

— В каком часу мы отправимся? — спросил кюре.

— Я думаю, что разумнее всего будет в четыре часа. Не следует рисковать опоздать к его выходу, не правда ли?

— Хорошо. Я пойду в церковь отслужить мессу. А вы поспите немного, господин Дюпон... Должен признаться вам, что меня берет нетерпение пуститься в путь...

— Ах, господин кюре — Бог знает, что бы вы сказали, если бы это чудовище лизнуло вас...

Около половины шестого, сделав большой круг, необходимый для того, чтобы добраться, куда нам надо было, аббат Ридель в охотничьем костюме с ножом за поясом, и я, в таком же виде, подымались по сухой тропинке горы, шедшей параллельно пропасти. Мы были выше леса и равнины, но из предосторожности шли подальше от края. Скоро я узнал по просвету деревьев, что мы дошли до тропы, ведущей к пещере. Следовательно, мегалозавр находился тут, под нашими ногами... Тогда мы направились прямо к обрыву и скоро перед нашими глазами постепенно стала вырисовываться внизу под нами лужайка.

Нас поразил донесшийся к нам зловонный воздух.

Кюре опустился на землю, я сделал то же, и мы поползли к краю бездны. Я добрался первый.

— Стойте, — сказал я. — Вот он!

Наш враг неподвижно лежал на траве около входа в пещеру.

— Он спит, — прошептал кюре.

Но я разглядел безжизненный широко раскрытый глаз.

— Он умер, — возразил я. — Но на всякий случай угостим его парой пуль, это будет вернее. Целься... Пли!..

Заряды попали в цель, но наша добыча даже не дрогнула. Рой звонких мух поднялся и снова опустился на труп. Смерть уже прошла здесь.

Недалеко от трупа, среди костей свиней лежал большой скелет игуанодона. Итак, всякая опасность миновала. Мы пошли тем же путем обратно, чтобы спуститься на погребальную полянку.

— В конце концов я оказался прав, — сказал я развязным тоном с странным чувством радости. — Игуанодон был убит своим коллегой... раздраженный рев, о котором я вам рассказывал и который так поразил Гамбертена, возвещал начало битвы. Мегалозавр стал у входа в пещеру, чтобы подстеречь игуанодона... это была гомерическая дуэль, господии кюре... Эге, — добавил я с глупым смехом, — может быть, мегалозавр скончался от полученных им тогда ран, почем знать?

— Очень сомнительно, — возразил кюре, ускоряя шаг, — прошло слишком много времени... зарубцевались...

Мы дошли до цели. Аббат Ридель снял куртку, вытащил нож и принялся резать чудовище на части:

— Это не гробница для христианина, — сказал он, — помогите мне.

Я тоже вытащил свой нож, но раньше, чем начать резать вздувшийся живот, я яростно вонзил его в потускневшие глаза чудовища, ощущую, не смея даже взглянуть на то, что делаю.

— Станный организм, — говорил кюре, — какая причудливая ткань, волокнистая, рыхлая...

Мы отыскиали Гамбертена. Но описание было бы в данном случае кощунством. Смерть, лишенная своего величия, была бы похожа на прекрасную нагую женщину, великолепные волосы которой были бы наголо сбиты. Это надо скрывать.

Аббат Ридель продолжал осматривать внутренность животного, испуская восклицания удивления:

— Где же желудок? Это поразительно... какая неэластичная слизистая оболочка... да где же, наконец, этот желудок? Я нашел только кусок разъеденной ткани около входного отверстия желудка... Скажите-ка, что вы знаете о процессе питания у этих зверей?

— Гамбертен сказал мне, что им необходимо было много воды... Этому, по-видимому, не хватало ее, это очевидно. Он вырос настолько, что не мог уже проходить по подземным галереям, так что доступ к подземному источнику был для него невозможен вот уже несколько недель.

— Это серьезное доказательство, — сказал аббат, — но чем питались мегалозавры в свое время?

— Кажется, главным образом рыбой.

— Прекрасно. Ткань — хрупкая, вследствие своего квазирастительного состава, ослабленная окружающей обстановкой и неправильным питанием; с одной стороны, недостатком воды — следовательно, засыхание, а с другой — отсутствие рыбы, следовательно, недостаток фосфора. Питательный аппарат пострадал больше всего. Он никак не

мог приспособиться... Но почему желудок почти уничтожен, а кишки прободены? Чем он питался? Свиньями... Ах, — воскликнул кюре, — все стало понятно!

— Что же именно? — спросил я.

— А вот что! Наш мегалозавр питался свиньями. Он их съедал целиком вместе с их желудками. Между тем, известно, что желудочный сок свиньи необыкновенно богат содержанием кислот и пепсинов. Это деятельное начало усилило деятельность желудочного сока нашего субъекта до такой степени напряжения, что его ткани, и без того хрупкие по консистенции, да еще истощенные вековым заключением и несвойственными им условиями жизни, не могли противостоять химической реакции. Чудовище умерло от не совсем обыденной болезни желудка: оно само себя съело.

Два дня спустя я провожал Гамбертена на кладбище этой несчастной деревушки.

Надгробный памятник фамильного склепа крошился. Я решил заменить его новым и вспомнил, что встречал среди кладбищенских памятников изображения обломков колонн. Так как мы с Гамбертенем были одного возраста, то мне казалось, что он скончался преждевременно, и что такая символическая колонна как раз прекрасно подойдет для его памятника. Но кюре оказался противоположного мнения:

— Господин де Гамбертен, — сказал он, — удостоился редкого счастья — закончить ту специальную задачу, которую он сам себе задал: он даже умер на поле сражения за науку. Будь я на вашем месте, я воздвиг бы на его останках не разбитый ствол колонны, а высокий желобчатый мраморный цилиндр, причем приказал бы закончить его, как у пальмы — этого идеала колонны — коринфской верхушкой. Не подлежит сомнению, что начиненные предрассудками архитекторы возразили бы вам, что всякая колонна должна что-нибудь поддерживать, а эта, мол, будет иметь глуповатый вид предмета, поддерживающего небо... Но я бы им ответил, что, может быть, и в этой мысли кроется

своя аллегория и что, в конце концов, этот образ не лишен своей своеобразной красоты и величия.

Несмотря на эту прекрасную речь, я решился распорядиться, чтобы новый памятник скопировали просто-напросто со старого, так как предполагал, что, будь Гамбертен в живых, он посоветовал бы мне что-нибудь другое, а Броун высказал бы четвертое мнение; а я научился не поддаваться впечатлениям минуты.

Вот и все, что я вынес из этого приключения, если не считать, конечно, пенсне, стекла которого совершенно потеряли блеск; но я избегаю объяснений, какая кислота их разъела. Разве мне поверят?

Впрочем, раз во всей этой невероятной истории нет ничего утешительного, кто же станет предавать ей какое-нибудь значение и верить в нее?

ПАРТЕНОПА
или
НЕОЖИДАННАЯ ОСТАНОВКА

ПАРТЕНОПА ИЛИ НЕОЖИДАННАЯ ОСТАНОВКА

Посвящается Шарлю Монталан

Галеры под начальством г. де Вивонн уже несколько дней как ушли в открытое море, когда эскадра г. де Бофор, состоявшая из линейных кораблей, в свою очередь распустила паруса, чтобы плыть к Криту.

На этих кораблях была отправлена под главным начальством г. де Наваиль армия из десяти тысяч сабель, копий и мушкетов с приказанием освободить Кандию во славу Христову и своего государя.

Происходило это в 1669 году.

Из Тулона был послан курьер в Версаль, чтобы известить о счастливом отплытии. — Не успел он проскакать и шести лье, как неожиданный порыв ветра унес его шляпу.

Шквал неся с моря. У Гизрских островов он здорово потрепал корабли г. де Бофор и снес грот-мачту на «Сирене».

Как только наступила временная тишина, г. де- Когулен, который был командиром на «Сирене», взялся за рупор и попросил инструкций у адмирала, корабль которого бурей приблизило к «Сирене».

Но г. де Бофор, сам еле державшийся на палубе своего «Монарха», побагровев от злобы, с съехавшим набок от свирепого удара кулаком по голове париком, заорал своему подчиненному в ответ, что: «Авария произошла по его собственной вине; что он не намерен откладывать победу из-за такого кретина, как он, и, что, со своей стороны, он посылает его ко всем чертям».

Услышав это, г. де Когулен тоже побагровел и ответил, что он доберется до Кандии в тот же день и в тот же час, как и господин адмирал, лишь бы ему разрешили плыть через Тиренейское море, где путь короче, и, главное, более

защищен от ветров, чем в Мальтийском — месте, назначенном для встречи рыцарского флота с французской эскадрой.

Адмирал задумался, потом, приняв решение, прорычал ответ сквозь свою медную раковину: «Он назначает местом сборища всех соединенных сил — Сериго. Там он будет ожидать встречи с “Сиреной” и назначенными эскортировать ее “Графом” и “Принцессой”».

Г. де Керьян, командир первого корабля, и г. Габаре, начальник второго, немедленно приказали убрать свои марсовые паруса для того, чтобы, лишив свои корабли тех же парусов, что потерял их незадачливый спутник, идти тем же ходом, дабы не потерять его из виду.

Теперь все три судна, и конвоируемое и конвоирующие, шли одним и тем же ходом. Из-за пострадавшей «Сирены» они держались поближе к берегу; и тосканцы, как и лигурийцы, а после них латинцы и кампанийцы могли видеть, как на горизонте проходил ряд кораблей, оснащенных парусами, которые вдали казались совсем белыми и от свежего ветра надувались с величественной грацией, свойственной лебедям и знаменам.

С некоторых островов, к которым подходили ближе, удалось рассмотреть их лучше.

Можно было видеть, что килевая часть их была выше у носа, чем у кормы. Статуи, украшавшие носы кораблей, вызывали всеобщее восхищение; больше всего любовались статуей второго корабля: нос был украшен фигурой сирены в рост человека, причем казалось, что вздымающееся над волнами туловище с вытянутыми вперед руками изо всей силы влечет за собой корабль к какой-то никому не известной цели. Оба других судна производили совсем противоположное впечатление: казалось, что корабли тащат на себе бронзового рыцаря и серебряную королеву, которые стояли на их носовой части.

По отверстиям для пушек в бортах было сосчитано их количество. Из-за качки солнце по временам поблескивало на медных жерлах.

Когда же эти морские путешественники, удаляясь один за другим, поворачивались к берегам кормой, все восторгались их кормовыми башнями, удивляясь великолепию и затейливости их постройки, так как каждая состояла из нескольких подымавшихся одна над другой галерей на колоннах. Эти лучезарные замки были видны издалека. Каждое утро и каждый вечер после трех пушечных залпов над ними поднимался или спускался какой-то бледный лоскут между украшенными гербами фонарями. Это был королевский флаг, соединенный с папским знаменем.

И все прибрежные жители материка и островитяне, от всей души желая удачи христианскому воинству, предсказывали им победу, веря в предзнаменование вновь наступившей хорошей погоды; потому что голубое небо, покрытое белыми облаками, носило одежду Святой Девы, а синий цвет моря был цветом короля.

Четыре раза соединенные флаги поднимались к блестящим золотом и пурпуром победы небесам. Но облачный и ветреный закат четвертого серого дня наполнил тревогой души де Керьяна, де Когулена и Габаре.

Ночью наступил ад: пронесся циклон. Буря с воем и гамом трепала трещавшие корабли, волны перебрасывались ими, как игрушками — и командиры признали себя побежденными. Пришлось отказаться от надежды управлять кораблями и даже попытка команды была бы смешной.

Г. де Керьян молился.

Г. Габаре ругался.

Г. де Когулен нюхал табак.

И все трое, каждый на своем мостике, терпеливо ожидали своей участи.

Никогда в жизни их глазам не пришлось меньше трудиться, а ушам — больше, до того шумела и выла буря в абсолютной темноте. Но все же временами блеск молнии озарял весь этот ужас, но вспышка света была до того короткой, что не получалось даже впечатления движения — море казалось цепью блестящих гор, а корабли казались какими-то не то бросающимися, не то взвившимися на дыбы чудовищами, застывшими на вершинах этих гор или в

долине между ними. И это зрелище, неподвижное из-за краткости своего появления, наводило г. де Керьяна на мысль, что, в сущности, горы — это громадная статуя океана.

Г. де Когулен под вой бури мечтал о том, как должно быть тихо и спокойно в Париже, во дворце Когулен, где его ждет теплый и молчаливый кабинет.

Г. Габаре продолжал ожесточенно ругаться. Наконец медленно, точно нехотя, наступила бледная заря, и оказалось, что с правого борта находится какой-то фрегат, а с левого — три рифа. За ними на расстоянии морской мили тянулся какой-то берег. Еле-еле удалось обойти рифы. «Сирена» чуть было не погибла; спаслись только тем, что г. де Когулен, увидя неминуемую гибель, скомандовал рискованный поворот. К несчастью, из-за неожиданного поворота, четыре матроса упало в море, и «Сирена» изо всей силы ударилась форштевнем в ахтерштевень фрегата. Маленькое судно раскололось, и пришлось быть беспомощными свидетелями гибели фрегата, так как из-за бурного волнения нечего было и думать о спасении погибавших...

Из-за недостатков оснастки пришлось откинуть мысль о борьбе с разбушевавшейся стихией; предпочли, не торопясь, осмотреть повреждения и направили корабли к берегу. Попытались ориентироваться. Оказалось, что они на высоте Капреи, против Салернского залива.

Через час все три корабля, повернувшись кормою к открытому морю, мирно покачивались в тихой гавани; и капитаны их, усевшись в шлюпку, отправились осмотреть поврежденный корпус «Сирены».

Пострадала только деревянная раскрашенная кукла. У нее были оторваны голова и левая рука; кое-где на туловище женщины и хвосте рыбы виднелись углубления — следы ударов. Сквозь «раны» можно было разглядеть сухие волокна бука. В нимфе воскресал чурбан.

Г. Габаре отметил печальную подробность. Грудь фигуры была забрызгана кровью: вероятно, один из матросов, падая, уцепился за это место и, при столкновении с фрегатом, был раздавлен о грудь сирены.

Г. де Когулен, несмотря на это, радостно улыбался — значит, ничего серьезного нет и не придется застрять; он даже предложил немедленно сняться с якоря. Г. Габаре отговорил его, уверяя, что к завтрашнему дню море успокоится и что выгоднее пуститься в путь на заре, дав отдохнуть людям. Г. де Керьян присоединился к этому мнению.

— Не провести ли нам этот день на суше? — предложил он.

— Черт возьми! — закричал г. Габаре, — может быть, это будет нашим последним прикосновением к земле, и я, со своей стороны, охотно потоптался бы на ней.

— Хорошо, — согласился г. де Когулен. — Кстати, салернский берег очарователен и довольно курьезен, так как тут растут апельсины среди развалин римских построек. Я как-то здесь бродил. Тут живет несколько благородных неаполитанских семейств, виллы которых достойны того, чтобы их посетили офицеры Его Величества, — пойдемте, оденемся поприличнее.

Но, когда шлюпка, обходя «Сирену», оказалась на виду у берега, г. Габаре вдруг закричал:

— Ах, черт поberi! Что это за Буцентавр? И что тут делает дож?!

К ним приближалась шлюпка, убранная разноцветными коврами, концы которых спускались в воду. Гребцы были одеты в ливреи и довольно мерно гребли. Под навесом сидел человек прекрасной внешности. Г. де Когулен заметил, что на нем был блестящий шелковый костюм розового цвета. «Пять лет тому назад», подумал он, «этот костюм был бы очень модным. Странно, что человек, так хорошо одевающийся, наряжается в костюм, давно вышедший из моды... Но... однако... его лицо мне кажется знакомым... Ну да, конечно, — это Шамбранн...»

Шлюпка все приближалась. Когда она подъехала поближе, господин, сидевший в ней, поклонился и сказал:

— Господа, разрешите мне... Ах, Когулен! Когулен здесь? Какое счастье... Да причаливайте же!

Он легко перескочил в шлюпку офицеров, опершись на высокую трость.

Г. де Когулен представил ему обоих капитанов и сказал:

— Я готов был бы поклясться, что вы в своем нивернском поместье...

— Король был так великодушен, — перебил его г. де Шамбранн, — что не пожелал усилить свою немилость приказанием жить в определенном месте. Я поселился здесь, в имении соррентского князя, с которым я в родстве по жене. Я живу здесь, среди развалин, в доме, построенном по специально восстановленному по старинным развалинам плану. Его видно отсюда... там... среди кипарисов... смотрите на конец моей трости. — Из своих окон я увидел, в каком вы очутились неприятном положении, а ваш флаг заставил меня еще сильнее почувствовать происшедшее с вами несчастье...

— Пустяки, — сказал г. Габаре. — Несчастье незначительное и легко поправимое.

— В таком случае я благословляю это благополучное несчастье, которое дает возможность г-же де Шамбранн и мне предложить вам воспользоваться нашим гостеприимством. Я приехал, господа, пригласить вас к нам поужинать и располагать моим домом по вашему усмотрению.

— Мы снимемся с якоря завтра на заре, — ответил г. де Керьян. — Следовательно, ничто не препятствует нам воспользоваться вашим предложением, с которым вы так радушно обратились к нам.

— Но, — пробормотал г. Габаре, поглядывая исподтишка на розовый шелковый костюм, — в моем сундуке, кроме сапог из буйволово́й кожи, да толстого суконного костюма, ничего нет... могу ли я?..

— Ради Создателя, милостивый государь, — перебил его г. де Шамбранн. — Вы стыдите меня разговорами о костюмах. Вы ведь видите, что я сам одет по моде моего дедушки...

Дом г. де Шамбранн был не совсем обыденным жилищем и указывал на фантастический вкус его строителя. Пост-

роенный на пригорке, он был похож на римский храм, чего теперь больше не встретишь в целом виде, разве на грабюрах. Г. Габаре сказал, что он производит на него впечатление вновь возведенных развалин.

Общество прошло в столовую между двух лакеев, открывших двери. Г. де Когулен сразу почувствовал, что ужин будет изысканный, так как необыкновенно изящно убранный стол поражал роскошью сервировки.

И действительно, накрытый стол мог удовлетворить вкусу тончайшего гастронома. Вина стояли на особом столе в бочонках из кедрового и санталового дерева и ждали только поворота позолоченных кранов, чтобы наполнить собою бокалы. Перед каждым бочонком стояло по пяти рюмок прозрачного венецианского стекла; хрупкие причудливые листья и цветы, украшавшие их, отливали всеми цветами радуги.

Г. де Шамбранн посадил г. де Когулена на почетное место рядом с баронессой. Сквозь окна видна была мраморная терраса, темная колоннада кипарисов и за ними море. Издали оно казалось синей стеной с волнующимся основанием и неподвижным гребнем. Три корабля казались на ее фоне миниатюрными барельефами, а до островков, казалось, рукой подать.

Стены комнаты темно-красного цвета были украшены фресками; фавны и нимфы, перегнувшись в причудливых изгибах, вели хоровод, воскрешая давно забытые позы; голые ноги танцующих застыли в необычных движениях; это было прекрасно, но непонятно. По словам г. де Шамбранн, это были тщательные и точные копии с фресок дворца Тиберия. Г. де Керьян без усталости восхищался и расхваливал их.

— Почему мы осуждены на то, чтобы эти пляски остались навеки чуждыми для нас? — сказал он. — Какая досада знать, что никогда не услышишь этой мелодии, которую наигрывают на двойных флейтах эти очаровательные флейтистки и под которую так изящно танцуют.

Г-жа де Шамбранн обратила его внимание на то, что каждая фигура воспроизводила отдельное па одной и той

же пляски, так что восстановить всю пляску было бы, в сущности, не трудно.

— Что же касается музыки, — добавила она, — то разве уж так трудно вообразить ее, раз мы знаем все па пляски, которую танцуют под нее. Ведь это значило бы открыть причину по ее последствиям... Слушайте...

Из сада раздался звук свирели.

Она жалобно напевала странную восточную мелодию под аккомпанемент тамбурина, бубна и систр.

Г. Габаре сделал презрительную гримасу.

Амфитрион сознался, что все это — дом, фрески и музыка — было делом рук баронессы, которая увлекалась исчезающими вещами и пыталась восстановить их.

— Что касается меня, господа, то я просто пользуюсь всем этим, не ударяя пальцем о палец. Но должен сознаться, что предпочитаю эту архитектуру постройкам господина Мансарда... Да и вот, — показал он на море, — большие фонтаны Создателя, которые, право, не уступают версальским...

Г. де Керьян молча слушал музыку и разглядывал фрески. Когда мелодия оборвалась на долго тянувшейся жалобной ноте, он, благодаря за доставленное удовольствие г-жу де Шамбранн, взглянул на нее и она показалась ему похорошевшей. Он только теперь заметил, что у этой маленькой жеманницы глаза богини, большие, широко открытые глаза, такие ясные и прозрачные, точно в них отражался огромный и спокойный океан.

Между тем лакеи убрали суп и расставили овалом первую перемену, состоявшую из шести пулярд и двух холодных перепелок, с похлебкой посреди овала...

Несмотря на важность и суровость, которую им придавали перья шляп, лица собеседников приняли радостный вид, который придает лицам неожиданное наслаждение.

— Какое очаровательное зрелище! — воскликнул г. де Когулен.

— Черт возьми, сударыня, — сказал г. Габаре, шпага которого зазвенела от его движений, — какое счастье встретить на своем пути вас и ваши припасы.

— Ах, господа, — сказала г-жа де Шамбранн, — какое у вас прекрасное настроение. От людей, которые направляются туда, куда вы идете, я этого не ожидала.

— Что ж тут удивительного? — объяснил г. де Керьян. — Прежде всего, сражения — наше занятие и судьба. Мы отправляемся в бой без грусти, но, клянусь честью, и без радости. И вот почему, по пути к битве, может быть к верной смерти, не рассчитывая на возможность так скоро отдохнуть на суше — почем знать, может быть, нам и вовсе не суждено вернуться, — вот почему мы так восторгаемся этим вечером, столь неожиданной передышкой, давшей нам возможность насладиться еще раз сладким покоем очаровательной жизни.

Г. де Когулен поддержал товарища и сказал:

— Боже мой, сударыня! Вы не можете себе представить, какое наслаждение мы испытываем, сидя за столом, накрытым такою скатертью, украшенным цветами, хрусталем и серебром, перед яствами, приготовленными, как для апофеоза. Стол и стулья не раскачиваются от зыби: блаженство! Море, которое видишь в окно, не поднимается и не опускается без конца: упоение! По правде сказать, я, конечно, вижу, как в заливе покачиваются на якорях наши корабли; но то, что я вижу их вдали, лишний раз подтверждает, что мы-то не на них; ведь с таким трудом верится в это, что поневоле ищешь доказательств...

— А кроме того, сударыня, — добавил г. Габаре, — кроме того, вы очаровательны; а ведь ни одна хозяйка, простите мне мою смелость, не может быть приятна гостям, если у нее некрасивое лицо. Это может испортить самый приветливый прием; извиняюсь еще раз за прямоту моих слов.

Г-жа де Шамбранн поблагодарила за грубоватый комплимент кивком головы и сказала, указывая на корабли:

— Разве жизнь в этих золотых замках так мучительна? Мне кажется, что мне море не могло бы надоесть. В нем так много притягательного.

— Конечно, — возразил насмешливо г. Габаре, — только часто случается, что оно вас держит в плену крепче, чем

следовало бы... Со мной оно сыграло немало скверных шуток.

— Сударыня, — сказал г. де Когулен с набитым ртом, — сударыня, г. Габаре двенадцать раз терпел кораблекрушения; на девятый раз ему довелось даже отведать человеческого мяса; он ел его так же, как я сейчас ем ножку этого кашлуна...

Было совершенно ясно, что г. Габаре тема разговора сделалась противной. Он нахмурился и попросил разрешения не пользоваться вилок: «этот итальянский инструмент не употребляется во Франции, разве только при дворе».

— И вы можете мне поверить, сударыня, — добавил он, — что во мне нет даже намека на придворного. Мне ведь приходилось питаться при помощи вилки Адама.

— Так что, милостивый государь, — спросила его баронесса, — вы не любите моря?

— Да нет же, сударыня! Люблю! Как любовницу, которую тем крепче любишь, чем больше она изменяет, и которую оскорбляешь и ругаешь только в промежутках между поцелуями.

— А вы, господин де Когулен?

— Ах, сударыня! Море для меня тяжелый, но любимый крест; я люблю море, хотя и страдаю от него. Оно мне рисуется, как длинная, широкая, синяя дорога, с которой я не могу сойти.

— А вы, господин де Керьян?

— Меня, сударыня, привлекают к нему особые обстоятельства, но они вам показались бы... детскими. Особенно привлекательно для меня — путешествие. Но вы стали бы смеяться надо мной, если бы я рассказал вам все, поэтому позвольте мне промолчать.

— Однако, Боже мой! Секреты? — сказал г. де Шамбранн.

— Нет, пожалуйста, расскажите! — настаивала молодая женщина.

Посмотрев на отражение невидимых морей в ясных, широко открытых глазах хозяйки, г. де Керьян стал рассказывать:

— Ну хорошо; слушайте же: я родом из местности, где больше верят легендам, чем истории; у нас по ночам на большой дороге бродят и строят козни домовые, а в туманах по берегам рек пляшут феи. Само собой разумеется, сударыня, что я очень дорожу своим замком Керьяна и окружающими его скалами, но мне также дороги мои упрямые и набожные вассалы, а особенно, пожалуй, старая Ивоэль, самая болтливая старуха, которую я когда-либо встречал. Но больше всего я люблю этих домовых, которых никогда не видел, и фей, которых никак не поймать. Учителя познакомили меня с Римом и Грецией, разъяснили мне храбрость Цезаря и мудрость Перикла; но я-то больше помню о Меркурии и Палладе. И если я еще кое-что понимаю по-гречески и латински, то не потому, что читал Плутарха и Тита Ливия, а потому, что часто с наслаждением перечитывал Гомера и Вергилия.

Вот почему, сударыня, веря легендам больше, чем историческим данным, я с такой радостью очутился в Сериге, которое в древности называлось Ситерой, вот почему я с такой охотой стремлюсь в Кандию, на Крит: мне кажется, что я, как задумчивый Улисс, направляюсь, в погоне за неуловимым призраком, с острова Венеры на остров Миноса. Здесь я постараюсь разглядеть, не остался ли у какого-нибудь источника хоть отблеск белокурой богини. Там я попытаюсь отыскать лабиринт древних. И, воображая себя то богом, то героем, я поочередно буду Вулканом, Юпитером или Минотавром, Тезеем и, стараясь жить жизнью тех, которые никогда не существовали, стану упиваться этим очаровательным вымыслом.

— Тех, которые никогда не существовали, — повторила г-жа де Шамбранн, — почем знать? Разве во время ваших путешествий вам не приходилось видеть невероятные вещи или встречаться с потрясающими явлениями?

— Увы, — вздохнул г. де Керьян, — все это очень далеко от приключений Энея или Одиссея... Впрочем, за исключе-

нием последнего случая, — вдруг перебил он самого себя, — да и то я не могу решить, ужинаем ли мы у Калипсо или Дидоны.

Г-жа де Шамбранн улыбнулась, решив, по-видимому, быть снисходительной.

— Как, милостивый государь, — заговорила она снова, — неужели это возможно, чтобы, совершив столько морских путешествий, вы не сумели рассказать нам, какую прическу носят сирены? Или какие песни наигрывают тритоны на своих раковинах? Право, вы заслуживаете, чтобы я оказалась по отношению к вам Цирцеей. Нет, скажите правду: неужели вы никогда не видели этих знаменитых существ?

— Как же, сударыня, видел: во сне. В моих кошмарах меня преследовал толстый, красный тритон, парик был одет на нем шиворот-навыворот, и я слышал, как он всю ночь рычит сквозь свою медную раковину ругательства: «болван, болван». Милостивая государыня, эта амфибия — отвратительный черный дрозд.

— Ради богов, не кошунствуйте, — сказала г-жа де Шамбранн, смеясь, — гнев Нептуна и так уже преследует вас... А вы, милостивый государь, какого вы мнения о сиренах?

— Я никогда их не видел, — ответил очень серьезно г. Габаре; — но ведь море полно таинственности. Часто случается, что поймашь в сети какую-нибудь чудовищную рыбу неизвестной породы. Я даже убежден, что существуют и такие, которых никогда не удастся поймать, потому что они, вероятно, только ползают по самому дну океана (хотя ползать и неправильное выражение, но мы — неучи — не знаем другого), не имея возможности подняться, вроде того, как мы тащимся по земле.

— Совершенно верно! — воскликнул г. де Керьян. — Ведь надо же сознаться, сударыня: для птиц и для философов земля только дно неба, по которому грузно тащатся люди под недоступным для них лазурным океаном, по которому, подобно волнам, проносятся тучи и облака.

А что касается сирен, то я, со своей стороны, люблю принимать морские водоросли за распущенные волосы сирен, а переливы гибких волн — за движения обнаженных

торсов. Впрочем, сударыня, если бы, паче чаяния, правда, что сирены на самом деле что иное, чем игра ветра взъерошенными водорослями, то убедиться в этом легче всего именно здесь.

Взгляните на эти три островка: вы называете их Галли — мы переводим — Петухи. Мореходы окрестили их, неизвестно почему, названием «Маленькие рты». Но в древности у них было другое название: «Сирены». И я могу объяснить, почему.

Все слушали с напряженным вниманием и одновременно взглянули в окно.

Между темными обелисками кипарисов ночь спустилась на успокоившееся море, по которому все еще кое-где пенились барашки. Сквозь туман еле можно было разглядеть очертания трех скалистых островков; видна была только пена, в которую превращались волны, разбиваясь об утесы.

На столе, в канделябрах, между расставленными ромбом блюдами второй перемены, горели восковые свечи, и морской вид, на который все смотрели, казался еще синее от красной рамы огней. Лакеи тоже старались рассмотреть неясные очертания островов.

Г. де Керьян заговорил снова:

— Меня прельстила задача — сознаюсь, очень детская — восстановить на карте маршрут героев. По описаниям мне удалось проследить, сколько вымысла крылось в географии, и я убедился, что, если приключения ложны или прикрашены, то места действия их безусловно верны и точны.

Господа, это как раз то место, где, по крылатым словам Гомера, коварный Улисс услышал пение сирен.

— Довольно курьезно, — заметил г. де Когулен, — что мой корабль «Сирена», как бы нарочно, забрался в эту местность, чтобы ранить свою стоящую на носу фигуру, изображавшую гомеровскую певицу...

— Это, вероятно, единственная, которую можно увидеть в наше время, — заявил г. де Шамбранн, пожимая плечами. — Сирены только и бывают, что деревянные на носках кораблей, да нарисованные. Насколько я знаю, три зна-

менитых рода во Франции имеют в своих гербах — и на своих монетах — изображения сирен, вдвоем, или поодиночке, серебряного или телесного цвета. Но в геральдике чаще употребляются изображения женщин-дельфинов, для поддержки герба; так то...

— Фи, мой друг, — перебила его г-жа де Шамбранн, — сухая наука рядом с мифологией!

Г. де Шамбранн снова пожал плечами и сказал другим тоном:

— Простите меня за то, что я на минуту перебью этот интересный разговор, но, в сущности, в необходимости извиниться виноват немного г. де Когулен.

Он указал на лежавшую на главном блюде громадную рыбу и продолжал:

— Вот, милостивый государь, великолепнейший экземпляр морской свиньи, или я ничего в рыбах не понимаю. Но не обвиняйте меня в незнакомстве с новыми обычаями из-за того, что голова ее не подана на отдельном блюде и не поставлена на почетном месте. Благодарение Создателю, я еще не совсем отстал от моды в этом отношении; но последнее время улов был не совсем удачен из-за ужасной погоды, и рыба, которую вы видите, была недавно выброшена прибоем на берег. Хотя она была без головы, но трепетала еще. Ввиду ее свежести и редкости, мы — я и мой повар — решились подать ее вам в таком виде.

— Это не морская свинья, — сказал г. Габаре.

— Что же это такое?—спросил г. де Шамбранн с кислой улыбкой.

— Это какая-то разновидность морской свиньи.

— Ах, Габаре! Сами вы морская свинья,—захохотал г. де Когулен, который храбро осушал бокал за бокалом. — Вы, право, слишком хитры для людоеда. Налейте мне, пожалуйста, еще бургундского.

Ему подали его стакан из муранского хрусталя, покрасневший от вина. Он осушил его до дна одним глотком и возвратил лакею.

Г-жа де Шамбранн проявляла признаки нетерпения. Она, не отрываясь, смотрела на море, темневшее с минуты на минуту все сильнее.

— Как далеко мы отвлеклись от сирен, — вздохнула она, обращаясь к г. де Керьян.

— Как, сударыня? Разве этот сюжет так близок вашему сердцу? Вот не надеялся, что встречу здесь людей, увлекающихся теми же мечтами, что и я...

— О нет, милостивый государь, не теми же, а гораздо худшими: потому что вы верите в сирен, как в символы, а я — я верю, что они существуют на самом деле, с развевающимися волосами, с очаровательным пением, чешуйчатые...

— Дай Бог, чтобы это было не так, сударыня! Ведь эти три сказочные сестрицы беспощадно уничтожали матросов и, если бы они существовали на самом деле, то это были бы свирепые чудовища, которых пришлось бы безжалостно уничтожить.

— Три сестры... Да, по Гомеру, их было всего три: Лигия, Левкодия, Партенопа...

— Совершенно верно, — отвечал г. де Керьян, немного удивленный такою осведомленностью, — но легенда сама позаботилась о том, чтобы не оставить их в живых. Рассказывают, что, услышав пение Орфея, они с досады превратились в утесы — в эти Галли, которые совершенно исчезли во мраке ночи.

— Их было всего три... — продолжала г-жа де Шамбранн, — но ведь были и речные сирены (так утверждают поэты). Они живут в гротах, на Рейне.

— Немного шампанского... — попросил г. де Когулен. — Эта рыба изумительно вкусна... Как, Габаре? Она вам не нравится? Или вам нездоровится?

Действительно, Габаре потерял свой цветущий вид. Бронзовый загар его лица как бы позеленел.

— Однако, что с вами, милостивый государь? — спросила его г-жа де Шамбранн.

Но кровь снова прилила к щекам сурового капитана и он ответил с улыбкой:

— Благодарю вас. Ничего. Уже прошло.

— Ну, кушайте же. Разве эта разновидность морской свиньи вам не по вкусу? — обратился к нему г. де Шамбранн. — Хотите прибавить для вкуса каких-нибудь пряностей? Чутьочку укропу? Или немножко корицы?

— Благодарю вас, нет, спасибо, милостивый государь... По правде сказать, я уже сыт... Глоток сладкой водки, пожалуйста...

— Вы ужасно рафинированы для людоеда, — сказал г. де Когулен, громко захохотав. — Мне попрошу бургундского.

Дичь, поданную на третье, расставили правильным кругом. Приятный аромат защекотал обоняние присутствующих.

— Зеленые трюфеля, — восхищался г. де Когулен. — Боже мой, неужели мы все еще не выезжали из Версаля?

— Увы, — вздохнул г. де Шамбранн. — Все-таки и у Версаля есть свои хорошие стороны. Бывают дни... когда... знаете ли... — Он нервным движением вытер глаза. — Когулен, расскажите, о чем говорят при дворе. В конце концов, это все-таки меня интересует.

И вот, в то время как они с легким и приятным возбуждением, вполне понятным в конце тонкого ужина, заговорили о приемах и собраниях у короля, оба романтика, со своей стороны, возобновили разговор на мифологические темы. Г. Габаре захотел принять в нем участие. Под влиянием выпитой сладкой водки с него сошел искусственный лоск, он потерял способность сдерживаться и вступил в разговор грубо и бесстыдно, решив, что настало время быть легкомысленным.

— Не расскажете ли вы, сударыня, подруга сирен, — начал он, — не расскажете ли вы мне, как они любят? Выходят ли они замуж за людей, или за рыб? Потому что, в конце-то концов, я держусь того мнения, что они плохо и неудачно оканчиваются и, пожалуй, они вообще не способны приносить жертвы Купидону, за неимением храма, если можно так выразиться. А если ваши наяды пошали-

вают с китами, то эти плутовки... вы можете думать, как вам угодно, сударыня, черт меня побери.

— Успокойтесь, Габаре, — перебил его г. де Керьян, причем, произнося эти слова, изо всех сил ударил его под столом ногой. — Сирены, милый друг, бессмертны, и поэтому мало думают о потомстве. Может быть, у них и бывают романы с тритонами, но, право, трудно сообразить, до чего у них может дойти дело. Кроме того, они любят друг друга братской любовью; поэты утверждают, что они никогда не расстаются и что ни одна сирена не может увидеть другую без того, чтобы не приласкать ее; в операх они всегда поют какое-нибудь трио, а художники всегда изображают их вместе, как трех граций, только морских.

— Стакан лесбосского, — попросил г. де Когулен у ближайшего лакея.

— А мне — кипрского, — сказал барон, щеки которого пылали, — за здоровье госпожи де Монтеспан!

Они чокнулись и выпили.

Фрукты заняли место дичи, и вазы, наполненные свежими фруктами, чередуясь с чашами с вареными фруктами, разместились по столу четырехугольником. Г-жа де Шамбранн была довольно добродетельна и не любила двусмысленных разговоров. Она заметила, что разговор принимал все более легкомысленное направление; г. Габаре становился грубо циничным, г. де Когулен уснащал свою речь тонкими двусмысленностями. Поэтому она поторопила подачу десерта. После этого все перешли в зал. Г-жа де Шамбранн сама, своими прекрасными руками, разлила всем по бокалу душистого напитка, составленного из белого вина и сока неспелых красных апельсинов, и сочла за благо оставить мужчин веселиться на свободе. Она незаметно удалилась.

Убранство этой комнаты ничем не напоминало седой старины. В ней стояла современная мебель, а окна были закрыты большими желтыми занавесями с ламбрекенами наверху. Г. де Керьян раздвинул занавеси, но не успел он как следует разглядеть голубой пейзаж и золотые кормовые башни кораблей, превратившихся в лунном свете в се-

ребряные замки, как г. де Шамбранн, дыша ему прямо в ухо и распространяя вокруг себя аромат душистого напитка, сказал ему дрожащим от слез голосом:

— Нет, милостивый государь, не открывайте, пожалуйста. Дайте мне возможность вообразить, что я в Версале. Смотрите, вот так, если прищурить глаза, можно представить себе, что находишься в будуаре государыни, обитом материей шафранового цвета; боскет из лавровых деревьев здесь налево... а сзади, за занавесью, прислушайтесь, господа, прислушайтесь внимательно, разве вы не слышите, как журчит вода в маленьком восьмиугольном фонтане...

— А море, милостивый государь, — сказал г. де Керьян в смущении. — А великие воды Господни?..

— Ах, — ответил хозяин сквозь слезы. — Комната швейцарцев ужаснее моря: там я потерпел кораблекрушение моей жизни; она и прекраснее, потому что она далека отсюда...

— Да, да, — прошептал г. де Когулен. — Изгнание... Ужасно печально, невыносимо...

— Да, да, черт побери, — пробормотал г. Габаре сквозь зубы, — невыносимо много кипрского вина...

И без всяких церемоний он закурил свою черную, вонючую трубку.

Снова принялись за питье; г. де Шамбранн приказал принести еще один кувшин душистой смеси. Потом он стал просить г. де Когулена и г. де Керьяна рассказать ему еще какую-нибудь сплетню или приключение из придворной жизни. Они посвятили его в подробности последних скандалов; а он, полузакрыв глаза, слушал их с блаженным видом, вставляя изредка односложные замечания; и по временам, в зависимости от того, напоминала ли ему какая-нибудь остроумная шутка бывшее, или наводила мысль на настоящее, улыбка скользила по его устам, или слеза туманила взор.

А Габаре, которому надоело слушать, как оба капитана болтали, как трещотки, стал мерно покачивать головой и мирно храпел.

В разговорах одних и сие другого прошло немало времени, как вдруг г. де Керьян заметил, что сквозь занавеси струится блеклый холодный свет, и на них стали намечаться силуэты оконных переплетов. Свет восковых свечей стал меркнуть.

— Смирно... господа — вот заря!

Он встряхнул Габаре, который, положив ноги на кресло и обливаясь холодным потом, рычал во сне.

В комнате было жарко и душно. Все они чувствовали ту неловкость в движениях, которую испытывают после бессонных ночей, проведенных в кутеже.

Г. де Шамбранн позвонил в колокольчик — никто не явился. Уставшая прислуга валялась на скамьях прихожей. Пришлось растолкать их. Хозяин приказал приготовить шлюпку. Затем г. де Шамбранн и его гости, одев широкие плащи, вышли из дома.

Холодный ветер жалобно стонал в листве кипарисов. Порывы его были резки, колючи, полны прибрежного песка и хлестали по разгоряченным лицам, раздражая, как пощечина. Покрасневшие глаза слипались, утомленное тело дрожало под плащом.

Быстро дошли до берега.

За ночь море выбросило на берег свои жертвы. На песке лежали тела погибших, как вехи. Многие лежали вдали от воды; но некоторые тела, наполовину погруженные еще в воду, шевелились при всяком возвращении волны. И море, как жестокая кошка, играло ими, заставляя трупы повторять подергивания агонизирующих манекенов.

Вот лежит группа погибших пассажиров разбитого фрегата; несколько женщин, ребенок; одни голые, другие одетые в разорванные в клочья, мишурные, яркие костюмы — должно быть, гаеры. Все позеленевшие и распухшие, с застывшим на лицах выражением ужаса, злобы или страха; лица некоторых были искривлены такой ужасающей гримасой, что, казалось, живой человек не мог бы повторить этой гримасы, или, если бы это ему удалось, он умер бы от этого.

Г. де Когулен, который шел от трупа к трупу, узнал двух своих матросов и сказал:

— Не хватает еще двоих.

— Этих никогда не увидят больше: слишком поздно. Здесь часто случается, что море не выбрасывает трупы погибших. В прошлом году погибло три рыбака. Они утонули около островков, и больше их никто не видел. Право, можно было бы подумать...

— Господа, идите сюда, идите скорей, — позвал их г. де Керьян.

Он шел на несколько шагов впереди других, и видно было, как он размахивает руками, наклонившись над какой-то неопределенной фигурой песочного цвета.

Они подошли к нему.

Фигура оказалась трупом голой женщины, или вернее, верхней половиной туловища, изуродованного самым ужасным образом.

Воцарилось молчание. Г. де Керьян перекрестился.

Было от чего прийти в смятение. Это было странное существо. Ее маленькое лицо было окружено удивительно спутанными, переплетенными водорослями волосами бурого цвета, грубыми, как грива. Оно оживлялось маленькими, круглыми, все еще блестящими, желтыми глазами, которые при жизни, наверное, горели нестерпимым блеском. Под широкими ноздрями, точно созданными, чтобы втягивать воздух с громадной силой, в широко раскрытом большом рту видны были крепкие челюсти с рядом тесно посаженных зубов, причем клыки выдавались, как у хищного животного, и вонзались в нижнюю губу. Плоские щеки и покатый подбородок. Ни одной морщинки; по лбу и углам рта, без намека на складочку, можно было судить, что эта женщина никогда ни о чем не думала и не улыбалась. По ее гладкому лицу нельзя было определить ее возраста, а безмятежность выражения напоминала безразличие животных.

А все-таки это было человеческое существо. Нервный торс, изящный изгиб талии, красота небольших грудей доказывали это и невольно заставляли вспоминать о теле

спартанских девушек, посвящавших так много времени физическим упражнениям. Отрезанные ноги, несомненно, бегали, прыгали, скакали. Представлялось, что они были стройны, мускулисты и быстры. Руки подтверждали предположение об атлетке. Они обросли густым, жестким пушком.

Но все же больше всего поражало, кроме клыков, то, что пальцы были связаны меж собой перепонками, кончавшимися у самых ногтей; ногти были длинны и тверды, как когти.

Тело было сплошь покрыто темным загаром.

Г. де Когюлен заговорил первый:

— Это дикарка!

— Скорее, — возразил г. де Шамбранн, — это какое-нибудь экстраординарное существо, которое везли с собой на фрегате гаеры, чтобы показывать с подмостков на ярмарках. Я видел такие же руки в Жиль-ле-Ке у аптекаря в банке. Он говорил, что это врожденный недостаток.

— Нет, — сказал г. де Керьян. — Этих волос никогда не касалась гребенка и никогда их не заплетали в косы эти лебяжьи лапки. Я готов поклясться, что это тело никогда не было прикрыто рубашкой и что ни одно покрывало не касалось этих плеч, удивительно прекрасных для такой бродяжки: в противном случае, тело было бы белее рук и лица.

— Надо, значит, предположить, что эти фокусники, — настаивал на своем г. де Шамбранн, — были очень недалекими людьми, если так мало заботились о том, что им сулило такие барыши.

— А знаете, — сказал г. Габаре, — эта искалеченная женщина громадного роста. Если поставить ее на ноги, то это будет настоящая великанша.

— Если у нее когда-нибудь были ноги, — пробормотал г. де Керьян.

— Честное слово, — продолжал тот, — ее нога не должна быть тоньше той рыбы, из породы морских свиной, которой вы нас вчера угощали... если их приставить...

Он вдруг умолк. По-видимому, пришедшая ему в голову мысль оказалась слишком дикой, или его смутило выражение лиц трех остальных...

Они молча переглянулись.

— Ну, баста, довольно! — сказал г. де Шамбранн.

— К черту! — добавил г. де Когулен.

Г. де Керьян промышчал что-то неразборчивое.

— А все-таки, все-таки, — настойчиво сказал г. Габаре, — эта рыбина очень и очень пахла человеческим мясом.

Солнце поднималось все выше и выше.

Пока г. де Шамбранн распоряжался уборкой и похоронами погибших, корабли, вытянувшись в одну линию, удалялись. Сначала за горизонтом скрылись очертания корпусов, потом паруса, за парусами вся оснастка, и, наконец, они совершенно исчезли. Сирена, Принцесса и Граф шли друг за другом, и окровавленная статуя, сквозь окраску которой видны были места волокна дерева, влекла их к неизбежной участи — поражению.

Командиры мирно дремали, каждый на своем корабле.

Вдумавшись в бессвязную, по-видимому, цепь событий, которые, может быть, были соединены в одно целое каким-нибудь тайным узлом, они долго не могли отделаться от какого-то неловкого чувства и навсегда сохранили в памяти воспоминание об этом дне. Г. де Керьян и г. Габаре могли бы рассказать это приключение со всеми мельчайшими деталями своим внучатам, но находили его не имеющим значения и неинтересным. А если г. де Когулен, спустя два месяца, совершенно позабыл об этом случае, то произошло это потому, что брошенное с какой-то фелуки ядро лишило его памяти вместе с головой.

•

ХРИСТИАНСКАЯ ЛЕГЕНДА ОБ АКТЕОНЕ

ХРИСТИАНСКАЯ ЛЕГЕНДА ОБ АКТЕОНЕ

Посвящается Полю Дюка



В те времена люди забыли Творца и поклонялись могуществу всего того, что было им непонятно. В особенности светилам. А из светил почитали больше всего солнце и луну.

И, позабыв заветы Еговы, о котором никто больше не думал, люди понастроили для них много великолепных храмов, где поставили их изображения в виде юношей и девушек, чтобы сделать сношения с новыми божествами доступнее для толпы. И случилось так, что ложные боги были похожи на Единственного, ибо Элоим создал человека по образу и подобию своему.

И Луне — жене солнца — поклонялись под видом статуи молодой женщины.

И среди всех народов, поклонявшихся ей, каждый народ называл ее на своем языке столькими именами, скольких царств считал ее повелительницей. Под разными названиями, украшенная соответствующими эмблемами, она всюду слыла богиней девственности, покровительницей рожениц, охранительницей кораблей во время ночного пути по пучинам морским и покровительницей тех, кто охотится за зверями, чтобы убивать их. Маленькие римлянки, стягивая пояс, называли ее Дианой; карфагенские девушки, глядя на цепочки, связывающие щиколки их ног, взы-

вали к Танит. В глубине громоздких дворцов священных Фив громкие вопли мучившихся в родах жен фараонов были обращены к Изиде. И Астарту воспевали в своих гимнах матросы, гребя ночью на тирских галерах...

Актеон, будучи греком и охотником, поклонялся луне под названием Артемиды.

Но этот принц обладал экзальтированным воображением, которое заставляло его видеть чудеса в обыденных вещах. Поверив своим болтливым кормилицам, он был убежден, что родился от союза своего отца Аристея с нимфой Сирене, а не с его царственной супругой. Он верил и в то, что его дед Кадам Беотийский, посеяв зубы дракона, пожал воинов. И до того сильна была его вера в чудесное, что, когда его старый учитель Хирон умер, стоило большого труда убедить его, что при жизни он не был кентавром.

Поэтому вполне понятно, что, когда этот мечтатель увидел изображения богов, сделанных по образу и подобию людей, то ничто не могло его разубедить, что эти идолы были действительно их изображениями и что бессмертные боги живут на той же земле, что и смертные люди. С тех пор Актеон стал находить следы шагов сатиров на звериных тропах и в гибких движениях качавшихся от ветра веток деревьев видел тайные жесты дриад.

Таким образом весь пантеон язычников промелькнул перед его снисходительным взором. Он перевидал всех богов: одного при блеске молнии в олимпийском профиле какой-нибудь тучи; другого в человекоподобном виде морской волны, покрытой пеной, как бородой. Он встречал или вообразил, что встречал, всех богов и богинь, за исключением одной — покровительницы охотников Артемиды с полумесяцем на голове. Он разделял все заблуждения своих современников и верил в пресловутую стыдливость призрачной богини и в то, что поэтому она укрывается со своими нимфами от нескромного людского взора.

И вот, несмотря на тайные предостережения Элоима, Актеон решил во что бы то ни стало выследить таинственную девственницу; и, проводя дни, а часто и ночи на-

пролет на охоте, подстерегал не только диких зверей и искал встречи не с одними кабанами и рысью.

Как-то вечером он возвращался в город с охоты в сопровождении друзей, вооруженных кто рогатиной, кто луком. Впереди на носилках из ветвей несли убитых ими медведя и трех кабанов; усталые собаки плелись, высунув языки, спущенные со своры. Охотники и животные передвигались очень медленно по лесистому ущелью вдоль берега ручья.

Актеон, которому не удалось в этот день ни убить зверя, ни увидеть богиню, шел, мрачно насупившись, и еле передвигал ноги.

В глубоком ущелье было очень темно. Только березы, которые всегда кажутся как бы насыщенными лунным светом, выделялись среди деревьев темного леса и производили впечатление бледных фосфоресцирующих колонн; вдруг, на поверхности буйного ручейка, промелькнула серебристая рыба, как прорвавшийся сквозь тучи луч лунного света. На лице юного принца разгладились морщины. Кто-то даже расслышал, что он издал восклицание восхищения.

И вдруг, на повороте тропинки, он шепотом приказал всем остановиться и замолчать. Его приказание было исполнено. Друзья и слуги повернулись к нему и смотрели на него с немым вопросом во взоре, собаки замерли на месте с насторожившимися ушами.

Тогда, показывая рукой на изгиб ручейка, он прошептал:
— Артемида...

Все взглянули по направлению его руки и увидели обыкновенный беловатый туман на синем фоне леса. Туман двигался по поверхности воды, но в данный момент его круглые и ленивые клубы смутно напоминали группу купальщиц. Каприз ветерка, вызвавший это, сейчас же и разрушил его.

А, между тем, вера в сверхъестественное была настолько глубока в те времена, что среди свиты Актеона нашлось несколько сумасшедших, достаточно совращенных с пути

истины, чтобы разделить его заблуждение и повторить за ним: «Артемиды».

И все они были убеждены, что видели ее купающейся.

Но в то время, как спутники и слуги не сводили восхищенных и почтительных глаз с потерявшего свою первоначальную форму тумана, среди них раздалась вдруг бешеная возня собачьей своры, которая внезапно бросилась на кого-то.

И, оглянувшись, они увидели, что принц исчез, а вдали мчится преследуемый обезумевшими собаками, закинув голову и касаясь рогами спины, громадный олень, неизвестно откуда взявшийся.

Все поверили в превращение: Актеон был превращен в оленя. Это сразу стало понятно для всех. И даже люди, не бывшие приверженцами культа Артемиды, сразу уверовали и в ее существование и в ее могущество, раз стыдливая богиня умеет так больно мстить своим недостаточно скромным поклонникам.

Оправившись от охватившего их всех смятения, наиболее мудрый из них закричал, что надо остановить собак. И все, сообразив, какая ужасная участь грозит оленю-Актеону, бросились в чащу с громкими криками ужаса.

К несчастью, они в оцепенении потеряли драгоценное время и вскоре услышали вдали бешеную собачью возню, возвестившую им конец преследования. Поняв бесполезность борьбы, они, запыхавшись, остановились, охваченные ужасом. Одни в отчаянии бросились на землю; другие, не отдавая себе отчета в своих движениях, шатались и спотыкались, как пьяницы; один плакал, опустившись на колени и мерно ударяя себя кулаком по голове; другой кричал неистовым голосом, стараясь заглушить шум травы; третий зажимал уши судорожным движением.

Затем, когда вернулись собаки с кровью на губах и шерстью на клыках, они застрелили их из луков.

Луна ярко освещала их обратный путь. Они утверждали, что она была ярко-красного цвета.

Но если богиня ночи, действительно, была окрашена в пурпурный цвет, то это произошло, наверное, в силу какой-

нибудь атмосферической причины, а не из-за оскорбленного целомудрия или негодования. Во всяком случае, кровь Актеона была тут не при чем. Артемида — плод воображения соvrащенных с пути истины умов — не принимала никакого участия в этом приключении, да к тому же принц вовсе не умер.

Вездесущий и всезнающий Егова сам руководил всем этим. Опечаленный тем, что Актеон, дойдя до крайних пределов сумасбродства, являл собой вредное для других зрелище и служил заразительным примером для остальных, чтобы покарать его, Он заключил его в тело быстрого оленя. Но, так как собаки уже пустились по его следу, Он направил их по другому пути, и кровавые следы на их мордах были от другой жертвы.

Ибо Всемогуший приберегал оленя-Актеона для более дальновидных планов и готовил ему более возвышенную участь.

Актеон, очутившись в двойной темноте леса и ночи, слышал в н у т р и с е б я как бы неясный голос. На самом деле это говорил с ним Элоим:

— Ты будешь жить жизнью зверя, — говорил таинственный голос, — пока не падут ложные боги и пока Артемида не перестанет быть покровительницей охотников.

Но Актеон не мог толком понять, что с ним произошло, так как никогда ничего не слышал об Егове, разве только то, что так назывался бог какого-то далекого народа. Да если бы он даже и больше слышал о Нем, он все же едва ли сообразил бы, в чем дело, так как привычка Элоима говорить с людьми в глубине их совести и не называя себя сбивала бы всякого с толка. Слова Создателя он принял за собственные мысли и удивился, что они так туманны и неуместны.

И все же божественные слова оставили в его душе какой-то неясный отзвук, и за все время своего звериного существования он чувствовал, что над его судьбой тяготеет что-то великое и таинственное.

Его судьба не скоро исполнилась.

Вначале олень-Актеон ничем не отличался от других одиноких оленей. Они никогда не ревут весною при заходе солнца, и за ними не идут следом грациозные стада самок и павлинов. Дни Актеона протекали монотонно. Он мирно пасся на траве, питался листьями деревьев и, утоляя жажду у источников, мог любоваться в зеркальной поверхности воды, как год от году рога его разветвлялись все больше и больше. Кора спадала с них и вырастала вновь каждый год, и каждый год он тер об стволы деревьев все новые и новые отростки.

Сначала он был быстроногим оленем, потом превратился в могущественного патриарха лесов и, наконец, постарел настолько, что шерсть его стала совсем белой.

Он достиг того возраста, в котором олени умирают и — продолжал жить. Гибкость его членов не уменьшалась, глаза оставались такими же зоркими, слух таким же чутким. Он легко и беззаботно нес на лбу бремя своих ветвистых огромных рогов; и все же каждую зиму вырастала новая веточка — этого никогда еще не бывало до него. Видевшие его дровосеки рассказывали о появлении гигантского оленя, совершенно белого и с невероятно ветвистыми рогами. Их рассказ разжег охотничью жадность.

Устроили облавы. Актеон удалился из этой местности и продолжал ту же жизнь в другом месте.

Он достиг того возраста, в котором люди умирают и — продолжал жить. Но его присутствие всегда делалось известным, и ему приходилось постоянно обращаться в бегство перед сменяющимися людскими поколениями.

Во всех лесах он находил прибежище, и из всех лесов ему приходилось спасаться. В некоторых из них, похожих на парки, встречались широкие просеки, солнце свободно проникало в них и играло на листьях деревьев; он предпочитал им поляны, закрытые, как куполом, густыми ветвями, на которых вечно было свежо, тихо и туманно. Актеон терся рогами обо все стволы с одинаковым безразличием; случалось, что во время своих бесконечных скитаний он попадал неожиданно для самого себя в знакомый лес и узнавал в старых мощных столетних дубах де-

ревья, которые он покинул молодыми деревцами. Время потеряло свое значение для Актеона.

Он достиг того возраста, в котором умирают деревья и — продолжал жить. Там, в Греции, правнуки его племянников были уже старцами. Те, кто охотился за ним теперь, говорили на неслыханном языке и носили странные костюмы. Все менялось среди народов во время его беспрерывных перемещений; но он не знал, вызвана ли эта перемена временем или пространством.

Ибо он все время мчался вперед и странствовал по свету, спасаясь от преследовавших его то пешех, то конных охотников, под лай охотничьих собак или тьяканье дворняжек. Он слышал звуки буйволова рога, потом рога из слоновой кости, позже медной трубы. Он слышал за собой последовательно свист дротика, полет стрел из луков, потом из арбалетов. Крики ловчих менялись соответственно эпохе и стране: одни напоминали ему воинственные выкрики, другие мало отличались от звериного рева. Его заманивали в западни.

Он попадал в них и, падая на дно вырытой ямы, ломал пружины западни. Хижины браконьеров удивляли его. Но он выходил без ран из величайших опасностей, оставляя своим разочарованным врагам, как единственную добычу, след своей сверхъестественной ноги то на песке, то на снегу. Ибо Господь предназначал его для другой участи.

Актеону это становилось все яснее день ото дня, год от года, век от века. Отдыхал ли он под аркой переплетающихся ветвями деревьев, мчался ли он по широкой поляне, преследуемый собаками и задыхаясь от быстрого бега, роковые слова неустанно звучали в его ушах, нарушая его отдых и усиливая его тревогу: «Ты будешь жить жизнью зверя, пока не падут ложные боги и языческая Артемиде...» Да, Артемиде! Принц больше не верил в ее существование; и он понял, что все пророчество сбудется слово в слово, потому что две трети его уже сбылись: он жил жизнью зверя и, наверное, пережил тот возраст, в котором умирают боги. Тогда, угадав агонию богини, Актеон стал внимательно присматриваться к тем людям, к которым ему

удавалось подойти поближе, чтобы найти в их поступках доказательство отречения от былых божеств, а вместе с тем указание на близость освобождения.

Ему уже удалось, однажды, приблизиться к людям. Это были бродяги, поспешно пробиравшиеся сквозь кустарники; они казались беглецами. На истомленных лицах лихорадочным блеском горели глаза, обращенные к небесам; уста их шептали мольбы. Один из них, совсем выбившийся из сил, лобызал с любовью две сложенные крест-накрест веточки, точно пил восстанавливающее силы снадобье; и с каждым поцелуем силы его прибавлялись, точно после глотка меда.

В другой раз, бродя на заре по развалинам покинутого города, Актеон увидел заброшенный храм Артемиды. Храм был почти совершенно разрушен; сохранилась только входная коллонада, да фронтон, с которого свалился тимпан. На фоне розовых небес это производило впечатление гигантского треугольника, из которого выглядывало солнце. Эта картина произвела сильное впечатление на принца, тем более, что, когда Феб поднялся повыше, его покрыло облако, имевшее форму креста. Под влиянием чьей-то непонятной и неодолимой воли Актеон обернулся, чтобы взглянуть на запад: там неподвижно висела прозрачная, бледная луна, а голубь, точно застывший в своем полете, как будто изгонял ее с неба. Симптоматические эмблемы.

Затем белый олень встретил на своем пути группу хижин, выросших на лесной поляне. Каждая из них была украшена крестом, а обитатели их, одетые в грубую шерстяную материю и подпоясанные веревками, преклоняли колени перед такими же изображениями, грубо сделанными из дерева. Но на этих крестах было прибито гвоздями изображение человеческой фигуры с венком из терновника на голове.

Все эти признаки укрепляли в душе Актеона веру в то, что на земле воцарился крест. Он не задумывался над странной формой, в которую выливалось поклонение этому символу, хотя, как язычник, он сначала предположил, что это символ вечной и всенародной геометрии. Но глав-

ное было для него то, что, по-видимому, эти явления находились в связи со словами, который постоянно звучали в его душе — значит, время его избавления было близко. И он обрадовался новой религии и благословлял крест, потому что был измучен необходимостью вечно спасаться от преследовавших его за то, что он слишком ревностно поклонялся полумесяцу.

Но вот однажды его преследовали ожесточеннее, чем когда-либо — погоня продолжалась три дня и три ночи. Ни разу еще до той поры охотники и собаки не доводили заколдованного оленя до такого истощения. За ним охотились, как за хищным зверем. Они преследовали его по пятам, не отставая ни на шаг; их настойчивость расстраивала все его хитрости. Ничто не помогало: ни то, что он, смешавшись со стадами, заставлял похожих на него оленей ударами своих ужасных рогов заступать свое место, ни то, что он путал свои следы и часами бежал в ручьях; ужасный шум погони становился все слышнее.

И когда наступил вечер третьего дня охоты, Актеон в первый раз в жизни почувствовал себя утомленным и инстинктивно стал искать пруд, в котором ему придется окончить свое земное существование. Найдя его, он вошел в воду и остановился. Но тогда заключенная в его звериной оболочке человеческая душа проявилась, и он заплакал горькими слезами. А между тем до него ни один олень не проливал слез; именно с тех пор, в память его муки, они плачут, как люди, в свой смертный час. Он ждал своего конца. Сначала вынырнула из кустов ищейка, потом собаки, бывшие впереди, а затем и вся свора. Актеон презрительно смотрел на них с высоты своего огромного роста. А они, при виде его, остановились, расположившись полукругом в воде, неподвижно и не подавая голоса. И прискакавшие первыми охотники остановились, как вкопанные, на своих конях на опушке леса, с рожком у рта или с натянутыми луками, но ни звука не раздалось и тетива не дрогнула. Ибо загнанный зверь, озаренный лучами заходящего солнца на фоне вечернего неба, поразил их своими

размерами, снежно-белым цветом и гордым видом, который придавали ему фантастически разросшиеся рога.

Вдруг послышался шум раздвигаемых кустарников, заржала лошадь, раздался звон оружия, и на опушку леса выехал Главный Охотник. Он, единственный, не казался пораженным: он стал кричать на собак и издеваться над остальными охотниками и протянул руку к своему колчану.

В это мгновение Актеон почувствовал, что на его голове среди разветвлений рогов зажегся какой-то свет и, наклонив голову к воде, увидел в отражении, что на его голове светится пылающий крест.

Больше он ничего не увидел, так как упал, потеряв сознание. Умирая, он понял, что слова исполнились до конца, и что с этой поры ни один охотник не будет больше считать своей покровительницей Артемиду древних... Упавшего перед ним на колени Главного Охотника он уже не мог увидеть и никогда не узнал, что это был граф Губерт, который стал впоследствии епископом Льежским — и Святым.

НЕПОДВИЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

НЕПОДВИЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Посвящается Шарлю Деренн

Около десяти часов утра спасенный нами человек открыл наконец глаза.

Я надеялся увидеть столько раз описанное пробуждение спасенных: я ждал лихорадочного ощупывания головы и всего тела, вопросов: «Где я? Где я?» — сказанных неуверенным, еле слышным голосом. Ничего подобного! Человек, которому мы оказали услугу, лежал совершенно спокойно, глядя куда-то вдаль. Потом его взгляд оживился, и он стал внимательно прислушиваться к шуму винта и ударам волн о борт судна. После этого, сев на узкую койку, он стал внимательно осматривать каюту, не обращая ни малейшего внимания ни на Гаэтана, ни на меня. Затем он взглянул на море через иллюминатор, без всякого любопытства и не особенно вежливо посмотрел на нас и, скрестив руки на груди, о чем-то глубоко задумался.

По внешности мы сочли этого незнакомца с красивым лицом и холеными руками за благовоспитанного человека, да и костюм его, как он ни пострадал от воды, изобличал в нем джентльмена. Поэтому его поведение обидело моего товарища, да и меня поразило, хотя знакомство с Гаэтаном давно приучило меня к смеси благородства с хамством и к шику, перемешанному с наглостью.

Впрочем, мое удивление не было продолжительным: «Не будем торопиться, — сказал я самому себе, — со смелыми выводами. Разве странное поведение потерпевшего крушение не может быть вызвано мозговым расстройством, вполне допустимым после такого несчастья; я думаю, что у него найдется немало материала для размышлений: судя по тем необыкновенным обстоятельствам, при которых он попал сюда, его приключение далеко от банальности».

Но Гаэтан, возмущенный контрастом между его внешностью воспитанного человека и странной манерой вести себя, сказал ему резким тоном:

— Ну, как вы себя чувствуете, черт вас возьми! Ведь лучше?

Он несколько раз повторил свой вопрос, но не получил ответа. Тот мало обратил внимания на резкий тон своего собеседника. Он смерил глазами Гаэтана, элегантная внешность которого мало подходила к резкости его речи, и после долгого раздумья, как бы нарочно созданного, чтобы увеличить недовольство моего друга, утвердительно мотнул головой: «да, мол, лучше».

«Хорошо, что понимает по-французски, — подумал я. — Может быть, даже соотечественник».

— Ну, вам везет, — продолжал Гаэтан. — Знаете ли, без нас, дружище!.. Да что с вами? Околели вы, что ли? — сказал он, рассердясь вдруг. — Что у вас, рот склеен, что ли, черт возьми?

— Вы плохо себя чувствуете? — вступился я, отстраняя моего друга, не столько для того, чтобы справиться о здоровье пострадавшего, как чтобы перебить Гаэтана. — Скажите... что у вас болит?

Тот отрицательно помотал головой и снова погрузился в задумчивость. Мои подозрения увеличились, и я взглянул на Гаэтана с тревогой. Я не знаю, заметил ли этот взгляд спасенный, но мне показалось, что в его глазах промелькнула улыбка.

— Хотите пить? — спросил я его.

Тогда, указывая на меня пальцем, он спросил с каким-то неопределенным иностранным акцентом:

— Док — тор?

— Нет, — сказал я весело. — Ничего подобного.

И, отвечая на молчаливый вопрос его глаз, добавил:

— Я пишу романы... я писатель... понимаете?

Он утвердительно наклонил голову, точно поклонился, и перевел вопросительный взгляд на Гаэтана.

— Я ничем не занимаюсь, — язвительно заявил тот. — Я рантье. — И добавил, пародируя меня. — Я лентяй... я занимаюсь ничегонеделанием... понимаете?

Заметив впечатление, произведенное на нашего гостя этим издевательством, я постарался изгладить его, сказав:

— Мой друг — собственник этого судна... Вы в гостях у барона Гаэтана де Винез-Парадолль, который вытащил вас из воды, а я Жеральд Синклер — его спутник по путешествию.

Но вместо того, чтобы представиться нам в свою очередь, на что я вправе был рассчитывать, он опять подумал и сказал медленно, точно подбирая слова:

— Не можете ли вы мне рассказать, что произошло? Я совершенно не помню, что со мной случилось после определенного момента.

На этот раз смешной акцент ясно определился: он говорил с английским акцентом.

— Господи, да это очень просто произошло, — ответил Гаэтан. — Мы спустили в море шлюпку, а матросы, сидевшие в ней, выудили вас.

— Но до этого, милостивый государь, что случилось до этого?

— До чего?.. Ведь не до взрыва же?.. — опять съязвил мой друг.

Тот сделал удивленное лицо.

— О каком взрыве вы говорите?

Я почувствовал, что Гаэтан разозлится, и снова вступился.

— Милый друг, — сказал я ему потихоньку. — Позвольте мне поговорить с этим субъектом. Он, вероятно, жертва потери памяти, что часто случается после таких сильных потрясений, и весьма возможно, что совершенно ничего не помнит о своем ужасном приключении. Успокойтесь и помолчите.

Затем я обратился к потерявшему память:

— Я вам расскажу все, что мы знаем о вашем приключении. Я надеюсь, что это освежит вашу память настолько, что вы, в свою очередь, будете в состоянии подробно рас-

сказать лицу, приютившему вас, обстоятельства, которыми он обязан чести знакомства с вами.

Хотя я подчеркнул жестом указание «на приютившее его лицо», мой слушатель и ухом не повел. Охватив колени руками, опершись на них подбородком, он спокойно ждал моего рассказа. Я продолжал:

— Вы находитесь на паровой яхте «Океанида», принадлежащей господину де Винез-Парадолль; капитан — Дюваль; постоянное место нахождения — Гавр. Вы в полной безопасности. Это прекрасное судно, — 90 метров длиной, водоизмещение — 2184 тонны, делает легко 15 узлов в час, машина 5000 сил. За исключением 95 человек экипажа и прислуги, нас на яхте было до встречи с вами всего двое — владелец ее и я. Это немного, особенно если принять во внимание, что на яхте, кроме вашей, еще двадцать восемь таких же кают. Но, убоясь длинного пути, никто, кроме меня, не захотел сопутствовать господину де Винез. Мы возвращаемся из Гаваны, куда мой друг ездил затем, чтобы самому на месте выбрать себе сигары... Итак...

Я выдержал паузу, рассчитывая произвести большое впечатление, упомянув, как бы вскользь, о сигарах, но остался ни при чем.

— Итак, милостивый государь, наш обратный путь протекал так же монотонно, как и путешествие туда, когда внезапная порча машин заставила нас остановиться. Сегодня у нас 21 августа, значит, это произошло 18. Немедленно занялись исправлением машины, а капитан кстати решил воспользоваться случаем, чтобы укрепить руль. Мы застряли на 40° северной широты и на 37° 23' 15" западной долготы, недалеко от Азорских островов, на расстоянии 1290 миль от португальского берега и 1787 — от американского; на расстоянии двух третей переезда. И двинулись мы в дальнейший путь сегодня на заре.

Воздух был совершенно тих, на море царил штиль. Ни малейшего дуновения ветерка. Парусное судно не сделало бы ни одной мили в сутки, даже распустив все паруса. «Океанида», предоставленная на волю стихий, стояла совершенно неподвижно. Доверяя словам капитана, что с

исправлениями поторопятся, мы не особенно огорчились и из-за жары, особенно чувствительной вследствие того, что яхта не двигалась, мы решили спать днем, а ночи превратить в день и проводить на палубе. Завтрак назначили на восемь часов вечера, а обед на четыре утра.

И вот третьего дня, 19-го, в пятницу, мы прохаживались по палубе в промежутке между завтраком и обедом и курили при свете луны. Небо было залито звездами, блестящими невероятно ярко. Падающие градом звезды бороздили небо и оставляли такой продолжительный след, что казалось, будто мистический грифель вычерчивает параболы на черной доске небес. Я с любопытством наблюдал этот грандиозный урок таинственной геометрии... Впрочем, все содействовало величию этого зрелища. Царило абсолютное молчание. Все спали. Слышен был только глухой звук наших тихих шагов. Должно быть, мы уже раз двадцать обошли палубу, когда в пространстве по направлению к корме зародился какой-то шипящий звук. Почти одновременно с этим довольно высоко на небе появился слабый свет. Свет этот, сопровождаемый все усиливающимся свистом, приближался к яхте с не особенно большой для болида быстротой, сделался ярче, промчался над нашими головами и, перерезав горизонт, исчез вдаль, напоминая медленно и лениво падающую звезду.

Мы так и решили, что это был метеор. Стоявший на вахте матрос присоединился к нашему мнению, хотя, по его словам, ему не приходилось видеть подобного явления за тридцать лет плавания по морям; капитан, разбуженный свистом, выслушав наш рассказ, тоже склонился к тому мнению, что это был болид. Он занес в корабельную книгу под 20 августа появление над «Океанидой» чуть блестящего аэролита, причем точно отметил направление с запада на восток параллельно 40° параллели, где мы в данный момент находились.

Тут я многозначительно взглянул на нашего субъекта. Он крепче сжал руками ноги, полузакрыв глаза и терпеливо ждал продолжения моего рассказа.

— Вы понимаете, — продолжал я, немного разочарованный, — насколько появление метеора оживило наши беседы. Каждый из нас высказывал свои соображения по этому поводу. Я особенно настаивал на поразившем меня соотношении между быстротой его пробега и продолжительностью шума; господин де Винец высказал мысль, далекую от шаблона, но против которой можно было спорить: по его словам, болид, который мы считали появившимся на горизонте, на самом деле вынырнул из моря. Это было очень смелое предположение, но чем фантастичнее было предположение, тем больше оно нас прельщало, милостивый государь. Объясняя происшествие чем-то сверхъестественным, мы этим самым старались оправдать охвативший нас страх. Если говорить правду, то внезапное появление этой мчавшейся на нас темной массы произвело на нас жуткое впечатление, и мы вздохнули с облегчением, когда увидели, что болид летит высоко над нами, хотя его проклятый свист заставил наши головы глубоко уйти в плечи — знаете, то, что военные называют «кланяться пуле».

Словом, мы от всей души отказывались от повторения этого астрономического опыта; что, впрочем, нисколько не помешало этому явлению повториться следующей ночью немного попозднее, так — около часа ночи, с значительно более драматическими осложнениями.

Вчера господин де Винец, которому надоела эта остановка среди океана под становившимися опасными небесами, приказал работать день и ночь над исправлениями. Сменяясь каждые два часа, часть команды занялась работой в машинном отделении, в то время как другие на шлюпках чинили руль. Работавшие на шлюпках только что кончили работу и собирались подняться на палубу, как вдали раздался свист болида.

Все увидели, как на покрытом яркими звездами небе появился слабый огонек и стал приближаться к нам... Господину де Винец показалось, что огонек движется медленнее вчерашнего, и мне тембр звука показался менее напряженным, более глубоким, что ли. Но все-таки масса дви-

галась в достаточной мере быстро. Через несколько секунд она достигнет зенита и спокойно исчезнет за пределами горизонта. По-видимому, земля приобретала нового маленького, туманного спутника.

Как вдруг, милостивый государь, ночь осветилась, точно солнцем и молнией одновременно: ничто больше не двигалось на восток и свист прекратился в звуке ужасного взрыва. Меня ударил в живот невидимый кулак, воздух вокруг нас содрогнулся, корпус «Океаниды» задрожал, на минуту поднялся ветер и волнение, которое немедленно же прекратилось.

Затем мы совершенно ясно услышали град падающих в океан предметов. Один из них упал около шлюпки, погрузился в воду, затем всплыл на поверхность... Это были вы, милостивый государь, вернее, ваше тело, уцепившееся за ручку двери, сделанной из какого-то невероятно легкого материала, настолько легкого, что она поддерживала ваше тело на поверхности воды.

Вас выудили... Вы были в обмороке; капитан, не зная, были ли вы одни на борту... аэролита, разослал шлюпки на две мили в окружности. Они разъезжали по месту катастрофы, но ничего, кроме металлических обломков, не нашли. Обломками вода буквально кишела. Они поблескивали матовым, если можно так выразиться, блеском и великолепно держались на поверхности воды, точно пузыри. Живых существ не было даже следа.

Что касается вас, милостивый государь, то, несмотря на все ваши усилия, вы не приходили в себя.

Мы вас раздели, уложили и ухаживали, как могли, пока продолжались поиски.

Но мне кажется, я могу с уверенностью сказать, что ваш обморок перешел в крепкий сон приблизительно на заре, в тот момент, когда мы тронулись в путь к Гавру, куда мы рассчитываем прибыть дней через восемь.

Вот и все, что произошло.

А теперь... не найдете ли возможным сказать нам, кого мы имеем удовольствие принимать у себя?

Наш слушатель медленно покачивал головой и не отвечал.

— А... дверь, с которой меня сняли?.. а обломки?.. — произнес он, наконец, — что... с ними?

— Все это, — сказал Гаэтан, — осталось там, откуда мы вас выудили. Господин Дюваль — наш капитан — решил, что это какая-то алюминиевая дрянь и притом такого скверного качества, что ее не стоит забирать с собой.

Незнакомец откровенно улыбнулся. Увидя это, мой друг заговорил с ним тоном добродушного ворчуна:

— Откройте нам, наконец, ваш секрет — не украдут его у вас!.. Ведь это был воздушный шар — дирижабль вашего изобретения?.. Здорово он лопнул!.. Ну, расскажите же, в чем дело?.. А впрочем, черт вас подери, — вдруг разозлился он, — если вы решили скрытничать, то нам наплевать — это, в конце концов, нас не касается!..

Тогда тот впервые попробовал произнести длинную фразу на своем языке, напоминавшем язык торжественного клоуна; я попытаюсь дать образчик его только этот раз:

— Господ барон, самый маленький приличий... нуждается... что я... исполнял ваша желание... что я объяснял, который я... почему... здесь... не приглашена.. как... Потому... теперь я помнил... все... very well... Но раньше... чем я говорил... позволяйт... мне... ужинал... If you please я голодная... я хотел говорил... что я хотел... кушать... весьма... Мне... надо... платья...

Гаэтан приказал принести свой яхтменский костюм и свое белье, украшенное коронами.

— Ваша кожа отсырела, — сказал он, рискуя, что тот не поймет его своеобразную манеру выражаться, — вряд ли вы сможете когда-нибудь ею воспользоваться. Вот кошелек и часы, которые оказались в вашем платье. Что вы скажете об этих синих брюках и куртке с золотыми пуговицами? Нравятся вам они?

— Нет ли у вас черного костюма? — спросил незнакомец, хватаясь за кошелек.

— Нет... А зачем вам?.. Ведь на вас был костюм серого цвета.

— Ну хорошо... Я предпочел бы... что же делать, тем хуже...

Между тем Гаэтан, как дурно воспитанный школьник, кем он останется навсегда, открыл его часы.

— Мне не удалось открыть ваш кошелек, — сознался он.

— Вполне понятно, — спокойно ответил тот, — в нем секретный замок.

— Что касается ваших часов... что это за инициалы?.. Монограмма из К. и А. Это значит... Коварный англичанин? — расхохотался он.

— Мое имя и фамилия Арчибальд Кларк, к вашим услугам, милостивый государь. Я американец, из Трентона в Пенсильвании. Остальное я буду иметь честь рассказать вам позже, после завтрака. Нет ли у вас бритвы?.

Мы удалились. То, что он назвал свою фамилию, принесло мне значительное облегчение: такое же, как я испытываю теперь, имея возможность писать просто «Кларк» вместо того, чтобы обозначать его всевозможными разнообразными синонимами, как «спасенный», «тот», «человек», «незнакомец» и всякими другими риторическими обозначениями.

Но Гаэтан выходил из себя. Он ругал манеру вести себя пришельца — я хочу сказать, Кларка — и изменил свое мнение только тогда, когда американец — то есть, Кларк, — вошел в столовую.

Право, в костюме Гаэтана он производил прекрасное впечатление. Симпатичная физиономия, безукоризненное воспитание, непринужденность обращения, словом — очень милый молодой человек.

Господин Арчибальд Кларк ел с аппетитом, не отказываясь от вина, но не проронил ни одного звука. За кофе он налил себе рюмку шотландского виски, закурил сигару (стоившую на месте доллар) и пожал нам руки, произнеся:

— Благодарю вас, господа.

За завтрак, или за спасенье?.. Вопрос остался открытым сейчас.

Потом, затянувшись несколько раз сигарой (каждая затяжка стоила, по крайней мере, два цента), начал свой рас-

сказ, говоря медленно, подыскивая слова, а может быть и мысли. Читатели не будут на меня в претензии за то, что я в их интересах исправлю язык нашего гостя, который говорил на таком курьезном и в то же время малопонятном французском языке, что вряд ли когда-нибудь какой-нибудь другой обитатель Соединенных Штатов говорил на таком. Я счел также своей обязанностью заменить американские исчисления мер, весов и пространства французскими и выпустить бесчисленные паузы, которыми г. Кларк уснащал свою речь по всевозможным поводам.

— Вам, конечно, знакома фамилия Корбетт... из Филадельфии, — начал он свой рассказ... — Нет?.. Впрочем, это вполне возможно и легко объяснимо. Весьма понятно, что во Франции совершенно ничего не знают о чете Корбетт, которая сделала самые значительные открытия за последние годы, но которым до того не везло, что одновременно с ними их изобретали другие лица. Мой зять Рандольф и моя сестра Этель Корбетт изобрели то же самое, что Эдисон, Кюри, Вертело, Маркони, Ренар, но всегда чуть-чуть позднее их; так что мои несчастные родственники оставались при своем нечеловеческом труде, тогда как другие прославлялись. «Слишком поздно» сделалось их девизом. Вот почему вы могли ничего не знать о них.

А, между тем, у нас они пользуются большой известностью, и сравнительно недавно наши газеты были полны описаниями и восхвалениями их непреодолимой отваги. Дело касалось подводного плавания. Действительно, за последние несколько месяцев они усердно занимались вопросом о подводных судах, аэростатах, автомобилях и других необычных и опасных способах передвижения... Вот тогда-то, тогда... Простите, что я так тяжело и медленно рассказываю, но меня стесняет ваш язык — он связывает мои мысли... Да, кроме того, обещайте мне соблюдение секрета, так как я буду говорить о не принадлежащем мне изобретении.

Хорошо... Благодарю вас.

Так вот тогда, 18 августа, как раз когда я собирался уходить из конторы, мне подали телеграмму за подписью Этель

Корбетт, в которой просили «господина Арчибальда Кларк, делопроизводителя на заводе электрических проводов братьев Реблинг, Трентон, Пенсильвания, немедленно приехать в Филадельфию».

Я призадумался над этим приглашением. Маленькое недоразумение на почве грошового наследства поссорило нас и мы давно не встречались. Что же случилось?.. Как поступить?.. Я колебался... Но подробность (совершенно излишняя) адреса указывала на то, что сестра хотела, чтобы телеграмма во что бы то ни стало дошла по адресу без недоразумения и замедления. Наверное, случилось что-то очень важное... Да к тому же родственники — все же родственники.

Час спустя я вышел из вагона на западном вокзале Филадельфии и поехал к ним в Бельмон. Там, в очаровательном парке Фермунт, на берегу реки Шюилькиль, где так удобно производить опыты речного спорта (между прочим, и подводного плавания), живут Корбетты.

Я проехал восточный пригород, переехал через мост и углубился в зелень парка. Во время переезда наступила ночь, но звезды так ярко светили, что мне легко было найти дом моего зятя. По правде сказать, небольшой это домишко, казавшийся еще меньше и ничтожнее от соседства с грандиозной мастерской, сараями и необъятным полем, служившими для опытов с автомобилями и аэропланами.

Я быстро узнал его, господа, и сердце мое сжалось. Только одно окошко светилось, между тем о ночной работе Корбеттов сложились легенды в Пенсильвании: каждую ночь мастерская бывала залита огнями.... Судите сами, как меня встревожили мрак и темнота построек в этот вечер.

Негр Джим встретил меня в темноте и повел в единственную освещенную комнату — комнату Корбетта.

Мой зять лежал в постели, желтый, в лихорадке. Вошла сестра. Последние четыре года я видел ее только на карточках, встречавшихся в газетах и журналах. Она почти не переменилась. Платье ее по-прежнему было почти мужского покроя и в коротко стриженных волосах почти не было седины, несмотря на почтенный возраст.

— Здравствуйте, Арчи, — сказал мне Рандольф, — я не сомневался в вашей любезности. Вы нам нужны...

— Я в этом вполне уверен, Ральф; чем я могу быть полезным?

— Помочь...

— Не утомляйтесь, — перебила его сестра, — я сама расскажу, и в коротких словах, потому что время не терпит...

— Арчи, мы выстроили... нет, не волнуйтесь: жизнь Ральфа не в опасности — простая инфлюэнца, но запрещено вставать и выходить из дому — прошу вас не прерывать меня больше.

Мы выстроили втроем, Ральф, Джим и я, по секрету от всех, очень интересную машину, Арчи... право! И, боясь, чтобы кто-нибудь нас снова не опередил в этом изобретении, мы твердо решили испытать наш аппарат, как только он будет готов. К несчастью, Ральф заболел инфлюэнцей. Как раз сегодня машина готова, а он слег. А между тем невозможно отложить испытание аппарата, а для управления нужны трое. Кто заменит Ральфа? — Я. Меня заменит Джим, но кто заменит Джима? Я подумала, что вы.

Для исполнения ваших обязанностей не надо никакой тренировки, не нужно особенного присутствия духа... От вас требуется только немного дисциплины во время производства опыта и полное молчание после окончания его. Я знаю ваши достоинства, Арчи. Вы подходите больше, чем кто-либо другой. Хотите нам помочь?

— All right. Забудем нашу размолвку, сестра. Я приехал, чтобы быть вам полезным.

— Имейте в виду, что нам все-таки грозит известного рода опасность...

— Ладно.

— Кроме того... как вам это объяснить?.. Словом, этот... спорт, которым мы собираемся заняться, представляется на первый взгляд таким ненормальным, таким преувеличенно странным, почти чудовищным, что...

— Мне решительно все равно. Я приехал, чтобы быть вам полезным. Покажите мне, комнату, где я буду спать. Я немедленно лягу, чтобы быть совершенно свежим завтра.

— Завтра! — воскликнул Корбетт. — Не завтра, а сейчас же, немедленно. Вот уж бьет одиннадцать часов. Идите, отправляйтесь скорее, мой друг. Не будем терять ни одной минуты.

— Как? Производить испытание ночью?

— Да. Нужно произвести опыт непременно на воле. А если проделать его днем, я спрашиваю вас, есть ли хоть один шанс, что нам удастся сохранить его в секрете, когда за нами во все глаза следят ревнивые взоры других изобретателей?

— На воле? Хорошо. Кстати, в чем собственно дело?

Но сестра не могла усидеть на месте от нетерпения.

— Ну, идемте, раз вы согласны, — закричала она. — Все готово. Аппарат в работе скорее даст вам возможность понять его назначение, чем самое подробное описание... Что?.. Переодеться?.. Одеть блузу?.. Незачем — мы не на подмостках... Идем...

— До свиданья, Арчи, — сказал мне Рандольф, — до завтрашнего вечера.

— Что?..

— Послушайте, — сказал я сестре, следуя за ней, — он сказал: «до завтрашнего вечера»... Вы, по-видимому, хотите заставить меня предпринять путешествие. «До завтрашнего вечера». А ведь Ральф сказал, что нельзя показываться при свете дня. Значит, мы где-нибудь остановимся до восхода солнца? Где же мы проведем день?.. Куда мы направляемся, хотел бы я знать, наконец?

— В Филадельфию.

— Что такое?.. В Филадельфию?.. Да мы ведь сейчас в Филадельфии.

— Конечно, мой большой и глупый братишка... Мы сделаем круг и вернемся сюда же.

Я замолчал, чувствуя, что она ничего больше не скажет мне, и старался не споткнуться в потемках. Этель не хотела

возбуждать любопытства ненужных свидетелей или шпионов, которых блуждающий свет огня мог привлечь.

Я шел за сестрой по невероятно длинному коридору, потом через всю мастерскую.

В мастерской было довольно светло. При свете звезд и восходящей луны, проникавшем через стеклянную крышу, видна была масса странных по форме вещей. Чтобы дойти до другого конца мастерской, пришлось пробираться через разбросанные в хаотическом беспорядке части всяких машин: то перелезать через враждебно настроенные крючковые железные барьеры, то обходить нелепые железные сооружения на четырех колесах или непонятные мельницы, крылья которых терялись где-то под крышей. Этель проскальзывала мимо них, ничего не задевая, я же, избежав сначала падения после того, как поскользнулся на попавшей мне под ноги резиновой оболочке колеса, застрял в клубке невидимой веревки. После победоносной борьбы с этим льняным боа, я попал точно в лапы гигантского паука; спасаясь от его стальных объятий, я полетел в оболочку воздушного шара. Схватившись за плавники громадного подобия акулы, я все же поднялся на ноги и тут же ударился о какую-то деревянную птицу. Но, по-видимому, богиня, покровительствующая изобретателям, удовлетворилась этими испытаниями, так как я очутился вдруг рядом с Джимом в дверях сарая.

Сарай был высотой с соборную колокольню и служил гаражом для аэростатов. Их там было несколько. Луч луны отражался на их металлической отделке. Все эти круглые, овальные, сигарообразные предметы были отодвинуты к стенам, предоставив почетное место для чего-то длинного, металлического, вытянувшегося посередине сарая.

— Вот он, — сказала Этель, указывая на эту вещь. Потом заговорила о чем-то потихоньку с Джимом.

— Ага, — пробормотал я, — это он... Гм... Колоссальный... автомобиль... или... может быть... лодка...

Насколько я мог рассмотреть в царившей там полутьме, эта штука была похожа на лезвие ножа, но не острого, а чрезвычайно заостренного спереди. Она была длиною при-

близительно в 40 метров на 8 метров высоты, толщиной всего в 1 метр от конца до середины сооружения; впереди, как я уже сказал, она заострялась, чтобы рассекать воздух или воду. Но она была до того остра, что резала глаза.

Я разглядел под кормой треугольный руль.

«Ну конечно, — подумал я, — это лодка!.. Да нет же; это автомобиль».

И в самом деле, загадочная повозка стояла на толстых колесах. Колеса были покрыты резиновыми шинами и были снабжены мощными рессорами. Между колесами болтались какие-то черные блоки, которые я с трудом разглядел.

Как я уже упомянул, аппарат блестел, но блеск был, если это слово применимо к понятию о блеске, какой-то блеклый.

Этель отшвырнула ногой брошенные кем-то инструменты и открыла дверь в теле этого гигантского меча. Тогда яркая электрическая лампочка осветила оказавшуюся, к моему удивлению, внутри узкую каюту. Помещение было мало до чрезвычайности: 4 метра длиной, 2 — вышиной и всего на всего 1 метр шириной. В этом помещении находилось три сиденья, одно сзади другого; сиденья вроде автомобильных кресел. Перед двумя первыми блестел целый ряд ручек, колес и педалей, перед третьим не было ничего, только сзади виднелись две рукоятки, которые служили, как я догадался, для управления рулем.

— Вот ваше место, — заявила мне Этель, — вы будете на руле. Перед вами сяду я, передо мной — Джим... Нет!.. ради Бога, без ложной скромности. Мой мальчик, никто не спрашивает у вас, сдали ли вы экзамен на рулевого. Речь идет вовсе не об управлении. Предназначение этого руля исключительное. Возможно, что вам даже не придется прикоснуться к нему.

— Ладно! Но на кой черт все эти штуки? Для чего они служат?

Этель меня не слыхала. Джим отозвал ее зачем-то к корме; и она оставила меня восхищаться каютой.

Какая удивительная каюта, господа, как она подходила для капитана корабля. Сколько там было кранов, кружков, разделенных на градусы, секторов, ручек, веревок, ключей, нитей, кнопок, таблиц с указаниями. И сколько других непонятных инструментов. Ничего похожего на то, что я, да и все мы когда-либо встречали, кроме сидений, да, пожалуй, часов, повешенных на переднюю стенку.

С первого взгляда они были похожи на обыкновенные часы, но к чему этот глобус, устроенный так, чтобы поворачиваться на продольной оси, наполовину ушедший в футляр часов; ведь здесь не было школьников, чтобы показывать им смену дня и ночи. Для чего служила эта стрелка, прикрепленная к футляру, острие которой указывало на глобусе Филадельфию?.. Не найдя объяснения, я продолжал осмотр.

Корзина, наполненная припасами и бутылками, страшно заинтриговала меня, — а гостиницы на что же? Разве нельзя было провести день в каком-нибудь скромном отеле на берегу реки или у дороги? Ах, да: боязнь встречи с каким-нибудь нескромным свидетелем. Право, эти предосторожности были преувеличены...

Однако, где ж окна? Как, окон совсем нет?.. «Как же находить дорогу, — бормотал я про себя, — если это автомобиль? Как направлять ее по верному пути, если это подводная лодка? Как перелетать через горы, если, вопреки вероятностям, это воздушный корабль? Да что же это за машина, на самом деле? Где помещается мотор? На носу или в корме? Может быть, над каютой?.. Каюта занимает четверть ее высоты и десятую часть ее длины, значит — эта комнатка является, если можно так выразиться, чем-то вроде желудка этого кита. Что же помещается в остальных частях этого искусственного кита, Ионами которого мы собираемся стать?».

В этот момент я услышал, как сестра сказала дрожащим от радости и нетерпения голосом:

— Джим, откройте двери сарая. Пора выпустить эту игрушку.

Негр засмеялся... Я сознаюсь, что не в особенном восторге от черных и от их горловой речи. Звук их голоса всегда наводит вас на мысль, что у них болит горло. И Джим с его смехом больного ангиной... нет, вы не можете себе представить, до чего он был мне противен.

И вот эта обезьяна распахнула громадные двери сарая и снизу доверху открылась широкая звездная щель. Внизу расстилалась совершенно белая от лунного света равнина. Вдали блестело маленькое озеро, окруженное серебряными тропинками. А тут, как часовой, стояла наша громадная шпага. — Что за ужасная скрытая сила приведет в движение это разрушительное орудие?! Ведь не шутка заставить двигаться этот монумент на колесах, похожий на потерпевший крушение корабль.

Сестра потушила электричество.

— Ну, скорее, — сказала она, — я хочу пуститься в путь ровно в полночь. В чем дело, Арчибальд?

— Вы... Вы забыли пустить в ход мотор!..

— Ха-ха, — засмеялась она, точно я очень удачно сострил. — Это было бы недурно, как вы думаете, Джимми!

Негр отвратительно загоготал. «Госпожа помнит, что случилось с маленькой моделью?»

— Ну, Арчи, помогите нам, — сказала сестра.

Она обеими руками толкала машину сзади. Джим — и я, несмотря на свое изумление, — собирались помочь ей, когда металлический колосс, поддаваясь простому усилию рук женщины, двинулся потихоньку вперед, направляясь к неизвестному месту своего назначения.

— Сегодня она прекрасно выровнена, — сказала Этель, не удивляясь. — Я думала, что придется работать вдвоем... Нет, оставьте, это пустяки...

И, повернувшись спиной к реке, что разрушило мою гипотезу о подводном судне, она стала толкать повозку по направлению к равнине. Я шел рядом с ней. Джим шел за нами, приплясывая в припадке радости.

— Простите меня, братец, я объясню вам механизм в дороге. Сейчас мне не до того — я слишком озабочена.

С каким волнением она произнесла эти слова! Сколько месяцев они провели в тревожной работе, чтобы дождаться этой исключительной минуты!..

Теперь машина казалась менее страшной, так как в сравнении с величием окружающей декорации не производила впечатления необъятной величины. Спереди даже ее так же трудно было разглядеть, как лезвие пашки, если смотреть на нее с заостренного конца. Отодвинувшись, чтобы рассмотреть общий вид машины, я заметил на ее верхушке несколько выпуклостей, которые были незаметны в сарае; какие-то придатки выдавались по обеим сторонам ее.

Этель проверила блоки между колесами.

— Все в порядке, — сказала она, — ни малейшего ветерка, идеальная погода. Садитесь по местам.

Мы влезли в кабину; Джим захлопнул герметически закрывавшуюся дверь. И легкий шелест ветра, настолько незаметный, что я принимал его за абсолютное молчание, заглох.

Сначала мне показалось, что мы находимся в полной темноте, и эта экспедиция слепых пленников становилась мне все менее понятной, но тут мое внимание привлек тусклый свет, мерцавший над сиденьем сестры. Это было что-то вроде большого абажура, внутренность которого светилась. Вот его описание: полукруглый прозрачный абажур, прикрепленный к потолку трубкой, которую можно было выдвигать, как подзорную трубу. При помощи этой трубы Этель опустила абажур себе на плечи и голова ее внутри абажура производила впечатление озаренной лунным светом. Потом она посадила меня на свое место.

Я застыл от изумления: мне показалось, что я каким-то колдовством оказался снаружи машины.

Представьте себе, что я увидел все окружающее: небо и серп луны, млечный путь, блеск звезд — белую равнину с ее серебряными тропинками. Я посмотрел назад и увидел силуэт Филадельфии, над которой возвышалась статуя Пенна в ореоле, парящем над всяким большим городом ночью. И маленький скромный домик Корбетта, в котором лежал

в лихорадке владделец его и мечтал о нас, тоже был тут же... Какое чудесное явление, господа! Вид этой живой миниатюры привел меня положительно в восхищение. Вам все станет понятным, если я сравню ее с тем изображением, которое фотограф видит в темной комнате на негативе, когда хочет узнать, вышел ли пейзаж. Вся разница заключалась в том, что я видел не часть пейзажа, а все кругом, как панораму, и что видел я ее как бы с высоты 8 метров, то есть с того места, как вы, вероятно, сами догадались, куда выходила трубка этого усовершенствованного перископа.

Вот, оказывается, каким образом можно было руководить направлением.

Я бы еще долго просидел под абажуром, если бы сестра не заняла своего места. Она проворчала:

— Ну чего вы восторгаетесь? Что вас удивляет в этом простом приспособлении объективов? Почти на каждом подводном судне есть почти такое же приспособление. Правильно ли наше направление, Джим?

В голубоватом фосфоресцирующем свете мало-помалу выступали очертания инструментов.

Джим наклонился над компасом — он не смеялся больше.

— Да, госпожа, — сказал он. — Мы как раз стоим вдоль линии, идущей с запада на восток.

— Хорошо. Арчи, садитесь на свое место к рулю. Держите его просто-напросто совершенно прямо до нового распоряжения... Готовы ли вы?

— Да.

— Готовы ли вы, Джим?

— Да, госпожа!

— Хорошо... Внимание... Бросайте груз.

Негр нажал сразу две педали. Я услышал какой-то шум под машиной, одновременно под носом и кормой; раздался глухой звук тяжелого падения на траву. Вдруг получилось отвратительное ощущение, точно вам вдавливают голову в плечи, плечи в ноги, а ноги в пол, словом, я пережил тошнотворное ощущение, которое испытываешь в

быстро взвившемся лифте. Но это продолжалось не больше секунды. Потом ничего уж не выдавало того, что наша машина движается.

— Ах, — вдруг вскрикнул я, — что это такое? Что-то блеснуло у моих ног.

Я нагнулся. И вдруг — Создатель! — от неожиданного зрелища у меня закружилась голова — я зажмурил глаза и судорожно вцепился руками в ручки руля: пол каюты был из такого прозрачного стекла, что казалось, будто под ногами ничего нет и сквозь это зияющее отверстие я увидел, как Филадельфия проваливалась... проваливалась с головокруглительной быстротой... Мы поднимались.

Этель не обратила никакого внимания на мое восклицание. Она внимательно всматривалась в какой-то аппарат и повторяла вслух данные, которые он отмечал:

— 300... 400... 500... 700... 1000... Джим, проверяйте по статоскопу: 1050... 1100.. Верно?

— Да, госпожа.

— Сбросьте 30 килограмм.

Негр нажал какую-то педаль. Я снова услышал какой-то шум и увидел, как между нами и бездной быстро перемещалась тень чего-то и исчезла. На этот раз это не был груз: из боязни убить какого-нибудь позднего прохожего, было устроено приспособление, позволявшее разрывать от времени до времени мешки с песком (или бочки с водой). Я дорого дал бы, чтобы узнать, с какой целью Корбетты так тщательно постарались избежать всякого общения с внешним миром. Но теперь время было неподходящее для расспросов. Сестра смотрела, не отрываясь, на барометр и повторяла:

— 1450... 1475... 1500 метров. Наконец-то... Ах!.. 1540... это уж слишком!

Она схватила какую-то цепочку, свисавшую с потолка, и потянула ее. Над нами, на чердаке — как я мысленно окрестил это помещение — послышался звук вытекающего газа: стрелка барометра спустилась до 1500.

— Теперь хорошо, — заявила Этель.

Потом, взглянув через голову негра на часы, сказала:

— Без пяти минут. Хорошо. Мы тронемся в путь ровно в полночь.

Как «мы тронемся в путь»?.. Что она этим хотела сказать?..

Я смотрел бессмысленно вопросительным взглядом на ее затылок, на ее мужскую прическу и был до того заинтригован, что мне показалось, будто я вижу не затылок, а чье-то сероватое и насмешливое лицо.

— Однако, — заговорил я, наконец, — однако, почему вы говорите, что мы отправимся в путь, разве мы еще не тронулись с места?

— Нет.

— Чего же вам еще надо? Что вы собираетесь предпринять?

— Путешествие вокруг света, господин инквизитор.

— Что?.. Как?.. Вы издеваетесь надо мной!.. Вокруг всего?..

— Света. Да. И в одни сутки... Аппарат стоит правильно, Джим?

У меня круги пошли перед глазами при мысли, что пилот нашего самолета сошел с ума; и я увидел, как в тумане, что проклятый зулус нагнулся над нивелиром.

Он нашел, что нос немного наклонился. Немного балласта, сброшенного с носовой части, выровняло аппарат, но подняло его в то же время на 20 метров. Этель заявила, что в конце концов это не важно. Взглянув на компас, она осталась довольна, улыбнулась и пробормотала:

— Великолепно: прямо на восток.

И, услышав, как часы начали бить полночь, сестра скомандовала:

— Пустите в ход двигатель, соедините контакт.

Джим повернул большой выключатель.

Тотчас же сзади раздалось тихое и мощное посапывание, и машина как бы проснулась. Шум становился все сильнее и сильнее; и, постепенно, вместе с усилением шума, вокруг нас послышался сначала шум ветерка, который мало-помалу свежел, усиливался, превращался в грозу,

потом в бурю; вокруг машины шел вой и шум, до сих пор неизвестный людям.

Несмотря на точность пригонки дверей, сквозняки прорывались тонкой струей и вихрем клубились вокруг нас с таким ужасным свистом, точно клубок змей шел на нас приступом.

Шум систематически усиливался вокруг машины, в особенности у носовой части ее; получалось впечатление вечно разрываемого куска шелковой материи. От работы мотора каюта содрогалась все сильнее; прикоснувшись к вздрагивающей стенке, я заметил, что она теплее, чем следовало бы. Впрочем, температура заметно повышалась, термометр все подымался и скоро можно было вообразить, что находишься внутри какой-то странной камеры, которую нагревают снаружи. Все это совершенно определенно доказывало, что мы передвигаемся с невероятной быстротой. Я отказался от своего предположения, что Этель внезапно сошла с ума. Действительно, моя храбрая сестра ничем не проявляла своего удивления и, по-видимому, предвидела заранее и подготовилась ко всем случайностям этого феноменального предприятия.

По ее распоряжению Джим избавил нас от сквозняков, заткнув все щели паклей. Во время его работы Этель следила за движением стрелки по разграфленной длинной линейке и снова произносила какие-то цифры:

— 500... 600... 1000... 1200... 1250...

Я должен обратить ваше внимание на тот факт, что цифра 1250 была названа очень торжественным тоном и что на этой цифре остановилась стрелка на линейке и столбик ртути в стеклянной трубке; в то же время перестали усиливаться шум мотора и свист ветра вокруг нас.

— 1250, — повторила сестра, — наконец-то мы добились.

И, взглянув на часы и что-то подсчитав про себя, сестра сказала, показав на глобус:

— Джим, в 12 часов 3 минуты и 45 секунд вы повернете стрелку на Торндаль. Вы слышите — Т о р н д а л ь. Мы будем там в это время.

Джим подождал назначенной секунды и повернул глобус так, что стрелка коснулась своим острием места, где на глобусе был обозначен Торндаль.

Немедленно после этого он нажал кнопку и глобус стал медленно поворачиваться на своей оси слева направо, по-видимому, приводимый в движение часовым механизмом.

Я еле-еле приходил в себя от душившего меня волнения.

— Этель... Это невозможно!.. — закричал я, — неужели мы уже в Торндале?

— Ничего подобного, — ответила она, проделывая целый ряд манипуляций над кнопками, — мы давно уже промчались дальше. В данный момент мы пересекаем железнодорожное полотно между Валлей и Сиуска. Посмотрите на стрелку глобуса, а потом на эту.

Этель указывала на разграфленную линейку, стрелка которой все время показывала цифру 1250.

— Это тахиметр, показатель скорости движения, — продолжала сестра, — он указывает на передвижение с быстротой 20,8 километров в минуту, то есть, около 1250 километров в час.

— Черт возьми! Мы мчимся с быстротой...

— Да нет же, мой друг, мы вовсе не мчимся.

— В чем же дело? Объяснитесь наконец.

— Мы не мчимся. Это воздух передвигается вокруг нас. Наше помещение неподвижно стоит в середине мчащейся мимо нас атмосферы. И вот почему я назвала его А э р о ф и к с о м .

— Не может быть!

— Уверяю вас. Потерпите еще минутку... Теперь я спокойна... Нет... надо завернуть еще этот кран... Ну, вот. Теперь я к вашим услугам. Да будет свет в вашей душе и в этой каюте.

И сестра создала свет... электрический.

— Это воздух передвигается, а не мы? — воскликнул я, разинув рот от изумления.

— Послушайте, друг мой, как вы ни отдались всей душой своей продаже ниток, но неужели вам никогда не приходило на ум, насколько дик принятый во всем мире способ

путешествовать? Неужели не дико применять пар, бензин или электричество для того, чтобы перемещаться на движущемся шаре, когда достаточно было бы держаться неподвижно над ним, чтобы все точки, лежащие на одной и той же параллели, постепенно перемещались под вами, и нужно только владеть способом спуститься, где и когда угодно.

— Черт возьми!

— Вот мысль, которая пришла нам в голову, мне и Рандольфу. Вот происхождение «Аэрофикса».

Совершенно верно. Воздух мчится вокруг него, а земля под ним. По отношению к ним, он неподвижен. Притяжение, которому наш аппарат подчинен, заставляет его находиться в постоянном, неизменном расстоянии от центра земли, а мотор его в то же время дает ему возможность не быть связанным с движением земли, вертящейся вокруг своей оси. Только в этом отношении он неподвижен, потому что наша старая планета увлекает его в своем движении вокруг солнца, а солнце — в своем бесконечном беге — в междупланетном пространстве.

Вся разница только в том, что, так как земля вертится вокруг своей оси с востока на запад, то мы совершаем путешествие вокруг земли с запада на восток в 24 часа, или, выражаясь совершенно точно, в 23 часа 56 минут и 4 секунды. Как солнце.

— Однако, — заметил я, наскоро подсчитав кое-что на клочке бумаги, — я помню, что окружность земли равняется 40,000 километров. Следовательно, если мы совершаем полный круг в 24 часа, то земля должна была бы бежать под аппаратом со скоростью 1666 километров с чем-то в час.

— Совсем недурно для торговца веревками. Бухгалтер сказался в этом вопросе... Но, рассеянный дурень... ведь окружность земли равняется 40,000 километров по линии экватора и только там, так что, если бы мы поднялись, например, в Квито, то тахиметр показывал бы 1666,66,6...

К несчастью для нас, Филадельфия, где А э р о ф и к с поднялся, находится на 40 градусе северной параллели, по которой окружность земли равняется только 30,000 километров, так как эта параллель ближе к полюсу. Здесь земля движется с быстротою всего 1250 километров в час. А что бы вы сказали, если бы мы поднялись на одном из полюсов? Ведь там земля совершенно неподвижна, как по всей своей оси; у нас под ногами было бы все время то же самое место и весь вид состоял бы из ледяного круга, который вертелся бы вокруг центра полюса, как пластинка граммофона.

И заметьте: чем выше поднимается аппарат, тем яростнее движение воздуха вокруг него, потому что чем дальше от центра земли, тем сильнее движение воздушных течений. Это явление могло бы нас принудить употребить больше усилий, чтобы заставить аппарат держаться неподвижно на большей высоте, если бы вместе с усилением движения воздуха он не становился, чем выше, тем реже. Чем яростнее воздух нападает на нас, тем меньше у него плотности; нос машины рассекает его все с той же одинаковой легкостью — оба эти явления уравнивают друг друга.

— Но почему мы стоим на высоте 1500 метров над землей?

— Потому что высшая точка гор, находящихся на 40 градусе параллели, немного ниже этой высоты, а сталкиваться с горными вершинами не стоит, не так ли? Как вы полагаете?

— Значит, мы точно следуем по 40 градусу параллели?

— Не уклоняясь в сторону ни на йоту. Может быть, со временем мы добьемся того, что наш аппарат сможет направлять свою неподвижность, пользуясь притяжениями светил. Нужно было бы стать неподвижными по отношению к солнцу, чтобы делать перемещения по земле вкось.

Но мы еще очень далеки от этого. Мы принуждены поневоле следовать по заранее выбранной параллели, как по рельсам. Руль служит только для того, чтобы наметить направление при отправлении и чтобы бороться против возможной помехи ветра при спуске. Мы связаны в нашем

направлении, братишка. Посмотрите на компас, он не отклонится ни на черточку в течение 24 часов. Север у нас все время справа.

— Значит, — еле мог я выговорить от душившего меня восторженного изумления, — завтра мы снова вернемся в Филадельфию, промчавшись по 40 градусу параллели. Вот, значит «круговой полет», о котором вы говорили?

— Вы угадали... Теперь взгляните на глобус под часами. Он служит одновременно указателем наших постепенных перемещений и схемой действительности. Кончик неподвижной стрелки изображает наш А э р о ф и к с — каждые 24 часа под ним проходят те же места: завтра под ним покажется Филадельфия, но мы немного запоздаем из-за времени, нужного для остановки и введения аппарата в круг земного движения. Оба эти маневра должны быть проделаны с крайнею осторожностью в почти незаметной прогрессии, потому что, остановив внезапно мотор, что, впрочем, совершенно невозможно, воздушная волна внезапно подхватит наше снаряжение и передняя стенка аппарата будет брошена на нас с скоростью и силой разрывного снаряда.

Пот прошиб меня.

— Проклятая жара, — пробормотал я, — и отвратительный шум и свист!.. Вы читаете вашу интересную лекцию, крича во весь голос, а я еле вас слышу.

— Да, все это вызвано сопротивлением воздуха. Не находите ли вы, что здесь можно задохнуться?

Она открыла маленькие, пробуравленные в стенках отверстия, соединенные, при помощи хитро приспособленных трубочек, с наружным воздухом. Эти вентиляторы были прекрасно устроены: они распространяли очаровательную прохладу.

Затем она продолжала свою речь:

— Сколько мы мучились, пока нашли средство от повышенной температуры внутри каюты. Ральф долго бился над этим и много нового изобрел для достижения своей цели...

Я было собрался высказать целый ряд ценных соображений по поводу странного свойства воздуха охлаждать тела при быстром движении и зажигать их при феноменальной быстроте, как вдруг сестра потушила электричество, и я, привыкнув к сумеркам, снова увидел ее голову, облитую молочным светом под абажуром.

— Их высочества — Скалистые горы, — доложила она, полюбуйтесь, Арчи.

Под абажуром синело небо, кое-где покрытое облаками. Вдали облака проплывали, не торопясь, вблизи они мчались, как блестящие клочки ваты; некоторые облака, которые мы прорезали, на секунду закрывали от меня горизонт. Возвышаясь над горизонтом — я хочу сказать, над краем абажура — какая-то черная тень быстро поднималась к звездам. Верхняя линия ее была странно изрезана зигзагами и кое-где блестела белыми пятнами; я догадался, что это неслась на нас с быстротою молнии страшная цепь гор.

Ледники, озаренные лунным светом, фосфоресцировали и напоминали хвосты комет; беглый свет озарил наш прозрачный пол; проскакивали возвышения и вершины; казалось, будто мчится стадо гор, охваченное паникой.

Потом все вошло в норму. Опустившиеся вершины снова вернулись в невидимую зону, и освободившийся от облаков небосклон заполнил перископ своим величием.

Затем стеклянный пол точно раскололся на бесчисленное количество осколков и засверкал мириадами огней, точно громадный бриллиант. Негра вдруг охватил припадок совершенно идиотского веселья. (Его ангина усиливалась пропорционально его веселью и тут превратилась в смеющийся дифтерит). Он задохся от смеха, выгнул спину и прокудахтал несколько торжественных восклицаний в честь «Тихого Океана».

Этель подтвердила:

— Да. Это Тихий Океан. 3 часа 22 минуты. Он явился на свиданье с поразительной точностью.

У меня вырвался крик отчаяния:

— Что если мы упадем?

— Не бойтесь, несчастный трусишка: «Аэрофикс» крепко спшит.

— Гм... — промычал я, сконфуженный ее презрительным тоном и, желая показать, что ничуть не боюсь, добавил: — Действительно, это прекрасный аппарат «тяжелее воздуха»... это великолепный...

— Это воздушный шар, Арчибальд, и, как все воздушные шары — легче воздуха, и он держится при помощи газа. Ни один планер, ни один аэроплан, какой бы системы он ни был, не в состоянии был бы удержаться на месте среди этой воздушной бури. Но вы сами понимаете, что, так как это «Аэрофикс», то помещение, в котором находится мотор, должно непременно быть под одной общей оболочкой с помещением для газа, в противном случае шар, где помещается газ, подчиняясь земному движению, натянул бы соединительные канаты и разорвал бы их, если бы не порвался сам с самого начала. Итак, весь аппарат помещается в одной оболочке, состоящей из смеси алюминия и другого вещества, не тяжелее пробки, но, к сожалению, обладающего малой сопротивляемостью.

Это помещение разделено на две части перегородкой, идущей вдоль всего сооружения. Верхнее помещение — над нами — наполнено газом, название которого известно только нам, газом, обладающим феноменальной способностью поднимать тела: он в семь раз сильнее водорода в этом отношении. «Партер» разделен на три отделения: посередине каюта, где я имею удовольствие обучать вас, впереди очень узкое пространство, где помещаются аккумуляторы Корбетт, очень легкий и почти неистощимый источник электрической энергии, а сзади, наконец, место мотора. Да, мотор, вот чем мы вправе гордиться! Вы, может быть, воображаете, что он обладает миллионом лошадиных сил. Ничего подобного. «Аэрофикс» не имеет ничего общего с парходом, которому приходится бороться с речным течением и сила его машины вовсе не имеет целью, не давая ему повернуться, удерживать его на месте. Если бы это было так, вы смело могли бы сказать, что Корбетты ничего не изобрели: их воздушный шар был бы просто-напро-

сто наиболее быстрым из существующих аэропланов, который может мчаться с быстротой 1250 километров в минуту и который в силу этого обстоятельства т о л ь к о к а ж е т с я неподвижным по отношению к центру земли. О, конечно, в теории этот план осуществим и мысль об этом может прийти в голову первому встречному, стоит только перемножить скорости движений на силы, вызывающие их... Но на практике это то же, что снабдить муху силою локомотива... Да кроме того, это было бы пустяками в конечном результате, изобретением без изыщества, достойным животного.

Я повторяю вам — наш мотор не сообщает движения «Аэрофиксу», а освобождает его от поступательного движения земли. Наш мотор — производитель инертных сил, понимаете? И хотя он и добивается того же результата, какого добился бы летящий с востока на запад завод, но употребляет для этого незначительное усилие.

— Но что же это такое? — спросил я. — Какой главный принцип?

— Ах, в том-то и дело, что э т о г о я не могу вам сказать — муж был бы недоволен.

— Но вы знаете, насколько моя сдержанность...

— Ну вот что, Арчи, я попробую вас надоумить, но не требуйте от меня больше ничего.

Вспомните о гироскопах, так называемых волчках, которые увеселяли наше детство; ведь они, пущенные по нитке, вертятся во всяком положении, не падая. Они образуют по отношению к своей подставке самые невероятные углы и как бы издеваются над законами равновесия и тяжести. Вспомните также о недавнем применении их в Англии. Инженер Луи Бреннан пользуется целой серией волчков для своего однорельсового трамвая, так что вагон, так же плохо уравновешенный, как остановившийся велосипед, держится неподвижно и вполне устойчиво на одном рельсе или канате, переброшенном через пропасть. Словом, всякое тело, снабженное гироскопами, остается устойчивым в состоянии неустойчивого равновесия, с о в е р ш е н н о так же, как если бы оно н а х о д и л о с ь в о ч е н ь

быстром движении. Следовательно, употребление гироскопа заменяет результат, полученный от движения.

Вот этим-то свойством, сильно увеличив его при помощи особого приспособления, мы и воспользовались... Сзади вас вертятся в безвоздушном пространстве шесть гироскопов — усовершенствованных волчков.

— Господи Боже мой, а вдруг они неожиданно остановятся?

— Это почти невозможно. Должно было бы произойти что-нибудь совершенно непредвидимое. Бреннан доказал, что гироскопы после момента прекращения приведения их в действие продолжают вертеться еще в продолжение 24 часов, причем первые 8 часов работа их так же полезна, как и раньше — этого времени более чем достаточно, чтобы без резкого столкновения присоединиться к земному движению и выбрать удобный пункт для спуска. Несчастье могло бы произойти только в случае порчи... ну... специального изобретения. А это может случиться только от злого умысла... Вы видите, как это невозможно...

— Этель... Этель... я в восхищении!

— Вы, конечно, сами догадались, — продолжала сестра, — почему я с такой легкостью передвинула машину. Свинцовые блоки, подвешенные снизу, нейтрализовали подъемную силу аппарата, так что шар весил всего только те несколько фунтов, которые нужны были, чтобы удержать его на земле. Этот компенсирующий тяжесть машины груз прикреплен таким образом, что его можно автоматически сбросить, не выходя из каюты. Это куда лучше, чем приказание — «отпустите канаты»... Да, можете быть спокойны — все предусмотрено до мельчайших подробностей: мы сначала произвели опыт с уменьшенной моделью, величиной с душегубку; но по непростительной оплошности пустили в ход мотор в мастерской — ну, маленький «Аэрофикс» и наказал нас за это: он пробил стену, вылетел на волю и разбился вдребезги, наткнувшись на косогор — обломки и посейчас там лежат.

— Но скажите, — прервал я ее вдруг. — А газ не может воспламениться от жары?

— Успокойтесь. Взрывчатая масса, которой наполнен шар, может воспламениться только в том случае, если в нее попадет искорка, или от непосредственного соединения с пламенем. Это — химера.

— Ну ладно... Теперь я совершенно успокоился; я даже понял теперь ваш план целиком, Этель... Сначала я принял ваш н е п о д в и ж н ы й а в т о м о б и л ь за обыкновенную моторную коляску.

— Держу пари, что из-за колес, да еще на рессорах... А между тем они предназначены только для того, чтобы предохранить машину от удара при спуске на землю: спускаешься, прикасаешься к земле и катишься на несколько метров вперед по инерции, прежде чем остановишься. Самый вульгарный аэроплан снабжен теперь этим приспособлением,

— Ну, хорошо, — бормотал я, — ну да, конечно, все великолепно.

Но оцепенение от странного сна, который мне дано было пережить наяву, затемняло мое сознание, а глаза мои не могли оторваться от поворачивавшегося глобуса, медленное и плавное движение которого указывало наш путь по 40° параллели.

Этель обратила внимание на мое состояние.

— Я догадываюсь о причине вашего упадка духа, — сказала она. — Всем неожиданным открытиям свойственно казаться противными законам природы и производить впечатление преступления против мирового порядка. После всех великих открытий, весь свет с некоторым ужасом неделю кричит о чуде. И некоторые жертвы науки производят фальшивое впечатление преступников, понесших справедливую кару за нарушение условно установленного порядка вещей. Арчибальд Кларк думает, что он свидетель мрачного покушения на законы природы.

Но у меня не было охоты порицать кого бы то ни было. Психология толпы, присутствующей при научных опытах, не занимала меня.

— Это ужасно, — бормотал я. — Отвратительно... Это бесконечное водяное пространство... Что там на дне под нашими ногами... Как глубок океан, скажите, пожалуйста?

— От 1000 до 2000 метров. Мы, должно быть, где-то между 140 и 150° меридиана.

— Совершенно верно: скоро 5 часов.

— 5 часов... в Филадельфии, но не там, где мы в данный момент находимся. Тут всегда полночь. Можно почти сказать, что полночь — это мы. Сегодня «Аэрофикс», неподвижный в земном пространстве и в людском времени, совершает свое полуночное путешествие...

Тоска охватила меня.

— Правда... солнце не встает, — заметил я.

— Неудивительно — оно все время находится на противоположной стороне земли. Солнце и наш аппарат как бы играют в прятки. Полдень согревает наших меняющихся антиподов, ведь мы все время находимся в центре мчащегося вокруг мира мрака. Арчибальд, мы пропустим в нашей жизни один солнечный день и проживем одну лишнюю ночь... Впоследствии, когда это изобретение будет эксплуатироваться и у каждого человека будет свой «Аэрофикс», совершаться будут, вероятно, главным образом, денные прогулки; и враги мрака смогут пользоваться в е ч н ы м днем и проводить жизнь при нескончаемом закате, или наслаждаясь видом бесконечной зари. Взгляните на небо в перископе: небесный свод неподвижно отражается в нем; все неподвижно, кроме луны. Звезды не меняют своего положения. Можно подумать, что небесные часы остановились.

— Но все же есть часы, которые идут безостановочно, — возразил я. — Эти часы — мой желудок, — он усиленно отмечает, что пора поесть... Я сегодня не обедал, сестра...

Мы пообедали.

Вы поняли, господа, по побуждению голода, что мое душевное состояние немного улучшилось. После обеда оно сделалось еще лучше. Подкрепившись великолепными консервами и полным стаканом превосходной водки, я чувствовал себя в этом узком клинке не хуже, чем в кори-

доре спального вагона. Только чувство какой-то общей разбитости напоминало о только что перенесенном нервном напряжении и являлось реакцией организма на это.

Но под влиянием полумрака и приятного чувства сытости глаза мои стали смыкаться. Монотонная колыбельная песнь шумящего снаружи воздуха и мирное посапывание гироскопов способствовали этому. Как бы в слуховом тумане я смутно слышал бой часов и слова сестры, что мы проехали четверть пути... Я окончательно уснул.

— Эй, эй... этого нельзя, братишка. Вы, кажется, заснули. Да ну же, проснитесь. Вы можете понадобится каждую минуту. Надо бодрствовать. Надо быть бдительным.

— Хррр...

— Посмотрите, как очаровательна Япония, над которой мы проносимся.

— К черту вашу Японию, — возразил я. — Там так темно, точно она покрыта сажей.

Джиму это показалось страшно забавным.

— А вы там, заткните глотку! — сказал я ему, поднявшись. — Вы не имеете никакого основания радоваться, когда говорят о саже... Несчастный... трубочист...

— Перестаньте! Смирно! Арчибальд! Сидите на месте!

Негр сгорбился, наклонив голову; его плечи вздрагивали от подавленного смеха, мне казалось, что я сверху вижу широкую улыбку сквозь толстый череп... Но повелительный голос Этель успокоил меня. Сухим тоном, в котором чувствовался не вполне прошедший гнев, я спросил ее:

— Где мы теперь находимся?

— На несколько лье к югу от Пекина. Вот пустыня Алаша.

— Все еще на высоте 1500 метров над землей?

— Да нет же, подумайте: мы на высоте 1500 метров над уровнем океана. А средняя высота пустыни приближает нас к земле на 500 метров.

Потом снова наступило молчание. Впрочем, я мог бы сказать, — наступила тишина, несмотря на постоянный ровный шум воздуха и мотора, потому что я так же мало обращал на него внимания, как на тысячи разнообразных

звуков, из которых, в сущности, состоит то, что мы называем тишиной в обыденной жизни.

Я долго боролся с охватывавшим меня сном. Чтобы развлечься, я пытался заинтересовать себя всякими вещами: позой моих спутников, балластом, который выбрасывали через определенные промежутки времени, меняющимся положением головы Этель, диковинными странами, в которых странные люди спали на необыкновенных кроватях, под нескладными крышами... Но воображение плохо заменяет знание, а я ничего не знал об этих затерянных странах и не мог разглядеть даже деревца. Мне оставалось только самому выдумывать себе описание стран, подражая маленьким детям, которые скачут на деревянной палочке и надолго останавливаются задумавшись, чтобы представить себе дорогу, по которой они проехали.

Впрочем, два тревожных случая заставили меня встряхнуться.

Первый был вызван ударом — положим, очень слабым — о нос машины. Что-то мягкое попало по дороге. Я подскочил от ужаса, но сестра успокоила меня фразой:

— Я заметила в перископе два больших крыла, но они тотчас же исчезли.

Второй тревогой я был обязан негру. Он вдруг поднялся с сумасшедшим видом, спрашивая, «не изменилось ли направление», и утверждая, что «если оно отклонилось в сторону, то это будет ужасно из-за гор Кашемира, высотой в 3800 метров, — и что он недостаточно владеет собой, чтобы отдать себе ясный отчет в этом».

Стакан водки вернул ему спокойствие духа. Он стал снова хладнокровным и веселым и вернулся на свое место перед часами.

Наконец сестра объявила веселым голосом — тоном метрдотеля из вагона-ресторана:

— Пожалуйста к завтраку. Ровно 12 часов пополудни.

— Полдень, — повторил я, всматриваясь в сумерки, — полдень в полночь.

Завтрак был похож на ужин. И обед тоже. Много чести ему не оказали. Ночное послеобеденное время тянулось бес-

конечно долго. Каспийское море, Турция, Греция, Калабрия, Испания и Португалия сменяли друг друга, невидимые и неинтересные. В невыносимом раздражении я топтал прозрачный пол, в котором ничего не показывалось. Я суетился, возился в узкой камерке и, наконец, испытал детскую радость, когда в три четверти двенадцатого получил приказ занять свой пост. Сестра добавила, что нужно остановить мотор и затормозить гироскопы, чтобы малопомалу присоединиться к движению земли и высадиться в Филадельфии.

Лампа засверкала своим упрямым блеском. Джим повернул большой выключатель и подвинул несколько рычагов на крюках. Слышно было, как в заднем помещении закрипели колеса на полозьях. Посапывание мотора сделалось глубже по тембру, свист воздуха становился все менее резким и указатель тахиметра стал показывать все меньшую цифру. Я лихорадочно сжал руками рукоятки руля. Сестра настоятельно приказала не пользоваться им до ее распоряжения. Изредка под моими ногами мелькали на Атлантическом океане освещенные пароходы, прорезывая зеркальное пространство двойной линией — красной и зеленой — своих огней.

Это положение продолжалось так долго, что показалось мне бесконечным. Перегнувшись через плечо сестры, я заметил на ее лице выражение большого неудовольствия.

— Дело в том, — ответила она на мои вопросы, — дело в том, что наш ход замедляется недостаточно быстро. Я боюсь, что мы пронесемся мимо Филадельфии.

На часах было уже 12 часов 30 минут, а свист воздуха был еще очень значителен. Я нервным движением отер внезапно выступивший на лбу холодный пот.

— Может быть, мы сможем спуститься в пригороде?.. Если это будет на сто километров от города...

Негр отрицательно покачал головой.

— Нет! Джим? Правда, это невозможно? — спросила сестра. — Не стоит настаивать... Я слишком поздно принялась за дело.

— Ну вот, подумаешь. Велика важность! — вдруг воскликнул я. — Как только вы остановитесь, вы дадите машине задний ход.

— Арчибалд — вы осел. Наша машина — вы совершенно справедливо это заметили — не самодвижущаяся повозка, а неподвижный автомобиль. Чтобы мы могли полететь обратно, надо, чтобы земля завертелась в противоположную сторону; и вслед за осуществлением этой маленькой фантазии немедленно наступил бы конец света. Нет, нет; мы снабжены газом, балластом, электрической энергией, припасами в достаточном количестве; единственный разумный исход — это снова проделать круг вокруг земли и замедлить движение раньше. Пустите снова мотор, Джим, и отпустите тормоза.

Как раз когда она отдавала это возмутительное распоряжение, немедленно исполненное Джимом, — в глубине бездны, под нашими ногами, пронеслось туманное пятно, как бы усеянное светляками — мы пролетели над Филадельфией...

— Бедный Рандольф, — вздохнула Этель, — как он будет беспокоиться.

И, не переводя духа, она произнесла маленькую речь, говоря быстро, не допускающим возражения тоном, каким говорят, когда боятся порицания собеседника и не хотят ему дать высказаться. Она познакомила меня с лучшим, по ее мнению, способом вернуться в Бельмон после завтрашней высадки. По ее предположениям, аппарат остановится не дальше 20 километров от города, а оттуда любая лошадь довезет его до сарая, и мы будем дома до зари.

Несмотря на быстроту ее болтовни, это слово всколыхнуло меня, и я перебил ее:

— Боже мой, зря! О чем вы говорите, Этель? Я стосковался по заре. Мне кажется, что солнце закатилось навсегда... Впрочем... Я явился к вам, чтобы оказать услугу... Я покоряюсь... Но вы клянетесь мне, что мы завтра во что бы то ни стало будем в Филадельфии?

— Даю вам честное слово, что завтра в час с минутами мы будем там. При удачном маневре, как и при неудачном, это займет у нас шестьдесят минут времени.

Джим задержал глобус на 1.250 метров.

На этот раз Этель позаботилась, чтобы и она, и ее спутники получили необходимый отдых. Она и Джим должны были сменяться поочередно, что же касается меня, то я, в качестве профана, нечаянно захваченного ими, получил неожиданную свободу поступать по своему усмотрению. Мне кажется, что наш капитан испугался моей нервности, которую я проявил в своем волнении и приставаниях к Джиму.

Изнуренный усталостью, я растянулся на стеклянном полу, поместившись так, что ножки моего сиденья приходились у меня между ногами. Но сон не принес мне облегчения, так как все время меня мучили ужасные кошмары.

Впрочем, какой же сон, как бы дик он ни был, мог сравниться со сказочной действительностью? Поэтому пробуждение показалось мне началом нового отвратительного кошмара; и, когда я убедился, что надо снова пережить этот бред, — весь ужас моего положения встал, как живой, перед моими глазами. Перископ освещал каюту, как подземелье, Этель с побелевшим под этим светом лицом спала, напоминая труп! Джим, важный и бронзовый, как статуя, сидел на страже на своем посту. А вокруг нас царила неумолимая ночь.

Мне сделалось страшно, и я безнадежно махнул рукой.

Но при этом движении моя рука натолкнулась на скользкий и холодный предмет... Это оказалась бутылка бренди... Несколько секунд... время достаточное, чтобы сделать хороший глоток — и вот страха уже нет. Что я говорю: никогда в жизни в моей мужественной груди не было даже намека на это чувство.

Но зловещий гость — ужас вернулся снова и мне пришлось прибегать к частым впрыскиваниям мужества, чтобы отгонять его. Впрочем, мужество было очень недурно на вкус и я храбро глотал его, не размышляя о могущих произойти последствиях от впитанной таким путем в

жидкой форме храбрости в этой маленькой, далекой от комфорта каюте, где я разделял печальную участь насмешливого негра и благовоспитанной дамы. Ах, господа, простите мне эти замечания. Пусть они служат доказательством правдивости моего рассказа и пусть выяснят, насколько отличаются с первого же взгляда сказки Жюль Верна и остальных комнатных туристов — от настоящего путешествия.

И в самом деле, моя невоздержанность явилась причиной больших недоразумений, к которым я теперь и перехожу.

Около 7 часов, над Балеарскими островами, Этель отдала распоряжение начала остановки,

— Да ну же, Арчи, поднимайтесь. Довольно спать, беритесь за ручки руля.

— Хорошо, госпожа Корбетт, — сказал я с ласковой улыбкой. — К вашим услугам, госпожа Корбетт.

Она быстро зажгла лампочку и осмотрела меня с ног до головы. В течение последних суток она ни разу не повернулась в мою сторону и не знала даже, спал я или нет. Довольное выражение моего лица не вызвало в ней подозрений, так как она приписала его вполне законной радости по поводу скорого приезда в Бельмон.

Тормоза застонали. Ветер сделался мягче. Мои спутники, занятые работой, безостановочно передвигали, опускали, поднимали всевозможные приспособления. Мне стало стыдно своего ничегонеделания. Но возвышенное чувство гордости охватило меня, когда я подумал о тех услугах, которые я окажу своим рулем. Они увидят, какой я рулевой. Ну уж, конечно. Я здорово удивлю этого славного человечка — Этель и этого идиотского трубочиста... Раз. Два. Руль на левый борт... Раз. Два... Руль на правый борт...

И, чтобы «попробовать», я потянул поочередно за трос. Само собой разумеется, что руль не трогался с места: сжатый, как в тисках, воздухом, которому быстрота нашего движения придавала значительную крепость, он никак не мог повернуться на своих шарнирах. Я мог натуживаться, сколько мне было угодно: руль был точно ввинчен во что-

то неподвижное. «Ты послушаешься, старик, — говорил я про себя строптивому рулю, — ты непременно послушаешься, хотя бы мне пришлось издохнуть из-за этого».

И я потянул с такой силой, что один из проклятых брусков оторвался от аппарата и остался у меня в руке.

«Ай, — подумал я, похолодев, — лишь бы они ничего не заметили».

Но этого нечего было бояться. Те двое всецело были поглощены своими маневрами. Может быть, мне удастся исправить то, что я испортил? И вот я стал шарить своим бруском, стараясь пристроить его на старое место. Но эта полоса, которая проходила через помещение мотора, оторвалась у самого руля и было безумием пытаться пристроить ее на место, не видя и не зная, как управляют э т и м рулем.

А между тем, я именно над этим бился.

Вдруг я разозлился. Я ткнул бруском назад и слегка вверх со всей силы... Что-то, встреченное на пути, поддалось с чуть-чуть большим напряжением, чем картонная перегородка; брусок пробил что-то насквозь. Я почувствовал, как он застрял в пробитом им отверстии, и резким движением вытащил его обратно. Раздался очень определенный свист, резко отличавшийся по звуку от свиста воздуха за аппаратом. Этель прислушалась. Перепуганный до смерти, заметив, что к бруску пристало что-то гибкое и обволакивающее, я хотел освободить брусок от этой подозрительной вещи... Сестра и Джим, обернувшись ко мне, увидели, как я обеими руками махал бруском. Они бросились ко мне...

Слишком поздно.

Гибкий узел разорвался во тьме, и там, сзади, что-то корчилось, трещало, дымилось...

— Боже мой... Джим! — закричала сестра. — Газ вытекает. И мне кажется, что туда попадет искорка... Скорее, ради Бога, скорее бегите.

Джим бросился к гироскопам. А я, не отдавая себе отчета в том, что делаю, открыл дверь... в пустоту...

Но я не успел броситься туда...

Пекло... Оглушительный гром... Ощущение пароксизма света и максимума грохота...

Я вцепился в дверь и потерял сознание...

Что было потом, вам, господа, лучше известно.

Г. Арчибалд Кларк кончил свой рассказ. С разинутыми ртами мы смотрели, как он докуривал свою сигару, допивая ликер. С его помощью уровень сигар в ящике значительно понизился и виски, мало-помалу уменьшаясь, осталось только на донышке бутылки. Мы часто прерывали господина Кларка восхищенными «ахами» и «охами», нередко мне приходилось помогать ему подыскивать недостававшие ему слова, и почтенная жертва пользовалась этими частыми остановками, чтобы с странным тщеславием злоупотреблять табаком и алкоголем.

Гаэтан тарашил глаза и без стеснения разглядывал единственного оставшегося в живых свидетеля этой невероятно безрассудной выходки. Г. Кларк поднялся со своего стула и пошел к иллюминатору. Их маленькие, круглые отверстия вытянулись вдоль стен столовой, напоминая украшенные морскими видами медальоны; но виды были далеко не веселые: какие-то круглые, геометрически правильные, плоские вырезки из однообразного моря и пустого неба, разделенные линией горизонта на два сегмента — зеленый и голубой. Американец заявил, что «это некрасиво».

— Ну, чего там, пустяки, — пробормотал Гаэтан, совершенно поглощенный приключениями Корбетт.

— Так что, — сказал я после непродолжительного молчания господину Кларку, — ваша сестра и негр погибли.

— Это больше, чем вероятно, — ответил он.

Флегматичным жестом Арчибалд Кларк бросил в океан окурки своей сигары, точно судьба Этель Корбетт, удел Джима и участь изобретения имели для него столько же значения.

— Ну, знаете ли, — промолвил он, — цветные люди... фи, что за грязная раса,... А что касается сестры... то, конечно...

хотя она по временам бывала до того мелочна... Ну, хотя бы эта история с наследством... Трудно представить себе... Впрочем, к чему болтать об этом... не стоит...

Эта выходка вызвала новое молчание, во время которого мы снова внимательно приглядывались к нашему гостю.

— Не можете ли вы, милостивый государь, — прервал я наконец молчание, — объяснить мне следующее: когда «Аэрофикс» пролетал над «Океанидой», я заметил кое-какие странности в производимом им шуме.

В первую ночь его было слышно... я боюсь сказать — после его появления — потому что его мерцание нельзя было разглядеть на очень далеком расстоянии... но, вероятно, недолгое время спустя, после того, как он появился на горизонте; и, наоборот, еще довольно продолжительное время после того, как он исчез за линией горизонта на западе, шум «Аэрофикса» был слышен.

Во вторую ночь шум начался почти одновременно с появлением аппарата и, если не принимать во внимание катастрофу, то его можно было бы считать точно совпадающим с временем прохождения аппарата на виду...

Кларк, подумав немного, стал объяснять:

— Это очень просто, господин Синклер. В первую ночь, когда мы пролетали над «Океанидой», мы еле начали тормозить и, поэтому, быстрота нашего движения была больше быстроты звука приблизительно на 46-66 метров в секунду... Вы соображаете?.. На вторую ночь, затормозив гораздо раньше, мы, вероятно, сравнивали эти скорости... Хотите, чтобы я подробно вычислил формулы?

— Нет, зачем же!

— Впрочем, это задача для детского возраста: если поезд идет со скоростью и т. д. ...

— Однако, черт возьми, — воскликнул Гаэтан, — при вашей быстроте схватывать и выводить заключения, которая меня прямо поразила, я не допускаю, чтобы вы не могли объяснить нам целый ряд вещей, касающихся «Аэрофикса»... Например... эти легчайшие аккумуляторы...

— Я рассказал все, что знал, — ответил Кларк, — и, если я решился открыть вам (под честным словом сохранить секрет) тайну, то только потому, что вы вытащили меня из воды, и ваше настойчивое желание узнать, что со мной случилось, заслуживало законного удовлетворения. Повторяю вам еще раз, что важные части передвижения, интересные подробности мотора, я не мог видеть. Не представилось даже малейшей случайности, которая дала бы мне возможность разглядеть или догадаться о чем-нибудь. Весьма возможно, что ученый или инженер, по данным, замеченным в каюте, мог бы нарисовать себе содержимое закрытых помещений и комбинированную систему гироскопов... Что касается меня, то я на это неспособен; и намеренно сокращенный урок моей несчастной сестры я только потому так хорошо и усвоил, что он был прост, и кроме того я, как и все в наше время распространения всяких видов спорта, знаком с основами механики. Если мне легко удалось запомнить некоторые точные цифры, то не вздумайте приписать это моим познаниям, которых на самом деле нет, а вспомните, что я по профессии счетовод, к функциям которого я потороплюсь вернуться, так как, хотя это и скромное, но зато не сопряженное с опасностями занятие.

Произнеся это мудрое решение, господин Кларк снова погрузился в молчание. И, несмотря на наши настойчивые просьбы, он ни разу больше не вернулся к описанию своего удивительного путешествия на «Аэрофиксе», говоря, что оно будит в нем тяжелые воспоминания.

Приходится констатировать факт, что до самого приезда в Гавр, где господин Кларк расстался с нами, он хранил самое неприступное молчание не только по поводу неподвижного путешествия, но и относительно всего другого. Нам стоило невероятных усилий добиться от него кое-каких сведений о Трентоне, производстве электрических кабелей и даже о дорогой его сердцу фирме братьев Реблинг. Да и то отвечал он только мне. Было совершенно ясно, что Газтан ему не нравился и всякий раз, как господину Кларку приходилось сталкиваться со своим спасителем, он вел

себя хотя и вполне вежливо, но поразительно холодно и молчаливо.

Как только «Океанида» причалила к набережной, господин Кларк, отклонив предложение Гаэтана помочь ему добраться до родины и поклонившись нам на ходу, чуть не бегом спустился по мостику на пристань.

После того, как мы с ним расстались, господин Кларк превратился для нас сначала в воспоминание, а потом в отвлеченную идею. Отсутствующий почти всегда — идея; и издали его существо — упрощенное, схематизированное, отвлеченное, является нам более выпуклым; основные черты его характера, как на сцене, выступают ярче. Всегда кажется, что отсутствующих и умерших видишь как-то издали: все присущие им цвета и оттенки оставляют в мозгу впечатление какого-нибудь одного преобладающего цвета, внешность их рисуется каким-то силуэтом, часто карикатурным. Господин Кларк сохранился в нашей памяти какой-то необыкновенной марионеткой. Его эксцентричность мозолила нам глаза, если можно так выразиться. Теперь, когда не было под рукой живого свидетеля этого чудесного путешествия, его рассказ казался нам сном, а он сам — галлюцинацией.

Я предложил — положим, немного поздно — произвести следствие среди команды. Мы так и сделали. Но мы произвели его довольно бессистемно, и в результате только растравили свое любопытство донельзя. Единственная новость, которую мы открыли, касалась «на чаев».

Перед тем, как покинуть яхту, господин Кларк раздал чаевые, и очень щедро... Кассир, раздающий прислуге все содержимое своего кошелька с щедростью набоба — это уже являлось немалой уликой против него. Но это еще не все: он, американец, летевший прямым путем из Пенсильвании, раздал вознаграждение ф р а н ц у з с к и м и кредитными билетами и луидорами...

Не переставая думать об этом, я поехал в Париж по железной дороге; Гаэтан отправился в свой замок Винез на Луаре в автомобиле. Я не хочу останавливаться на этом инциденте, но просто хочу отметить, что как раз накануне

расставаясь с ним, у нас произошла глупая стычка, которая рассорила нас навсегда. Это дает мне возможность обрисовать господина барона Гаэтана де Вине-Парадоль таким, каков он на самом деле. Если это ему придется не по вкусу, пусть выскажется, не стесняясь: я к его услугам.

Но не будем больше говорить об этом господине. Вернемся к рассказу.

Через несколько недель после моего возвращения, в моем распоряжении находилось целое дело о г. Кларке и обстоятельствах, предшествовавших его падению в Атлантический океан.

Я расположил в определенном порядке все, что мне удалось собрать по этому поводу.

Сначала шли вырезки из газет и бюллетени обсерваторий, в которых был отмечен звездный дождь в ночи 19, 20 и 21 августа и прохождение болида в Европе в ночь с 19 на 20 августа.

Потом можно было прочесть переведенные по моему поручению сообщения итальянских, испанских и португальских корреспондентов, живущих по 40° параллели, которые утверждали в один голос, что в ночь с 20 на 21 августа не видели на небе никакого неестественного света и не слышали никакого шума, хотя провели эту ночь на открытом воздухе.

Ничего не было удивительного, что они не видели света, так как госпожа Корбетт тушила лампочку, пролетая над материками; но что вы скажете по поводу того, что они ничего не слышали?... Необходимо, однако, доказать, что лица, приславшие заявления, заслуживают полного доверия... Вот источник моих документов:

Один из моих племянников состоит подписчиком «Всемирного Обозрения», печатающегося на разных языках. Это орган очень солидного международного клуба. Разноязычные подписчики этого журнала любят обмениваться друг с другом всякого рода вещами, начиная с открыток и кончая поэмами собственного сочинения. Сведениями из Италии, Испании и Португалии я обязан был любезности

моего племянника, которому, к слову сказать, я обязан и всеми последними документами моего собрания.

Это тоже переводы, но переводы писем, посланных из Филадельфии и Трентона и заключающих в себе очень веские и тяжелые улики против господина Кларка.

Действительно, в Филадельфии есть парк Фермунт, и на запад от реки Шюилькиль расположен Бельмон с равниной, окруженной холмиками, «место, прекрасно приспособленное для поднятия аэропланов», как подчеркивал любезный корреспондента, но никаких Корбеттов в Филадельфии не существовало.

В Трентоне, в числе многочисленных горшечных заводов и менее заслуживающих уважения фабрик поддельных священных египетских жуков, имелся и завод электрических проводников братьев Реблинг, очень почтенных людей; но ни один из служащих этого завода не носил шикарного и звучного имени Арчибалд Кларк.

Этот человек снова сделался для меня «потерпевший крушение», «незнакомец», «тот», «он»... Его длинный рассказ прибавил ко всем его прозвищам только одно, хотя и справедливое, но ничего не объясняющее, а именно: «обманщика».

Прошло много времени и ничего нового не открылось по поводу псевдо-Кларка. Я продолжал строить всевозможные догадки относительно этого происшествия, как вдруг третьего дня почтальон принес мне письмо, вложенное в два конверта. На внешнем конверте, кроме адреса и марки, был еще сырой штемпель 106 почтового отделения Плас Трокадеро. Внутренний конверт был надписан другим почерком, тем же, что и все письмо. Вот оно:

Господину Жеральду С и н к л е р у, литератору.
212, Авеню Арман-Фальер.
Париж (XV).

Многоуважаемый и дорогой друг!

Я пишу вам, чтобы смиренно попросить прощения за свое поведение на борту «Океаниды». Вы, должно быть,

давно догадались, что я играл комедию и, наверное, считаете меня порядочной скотиной. А между тем, милостивый государь, насколько мне было бы приятнее молчать; зачем вы, а особенно господин де Винез-Парадолль, заставили меня говорить; ведь хотя вы спасли меня и были вправе все узнать, но были обязаны не спрашивать меня ни о чем.

Нет, милостивый государь, я не американский кассир Арчибалд Кларк. Я инженер, француз, и аппарат, который я пробовал в ту счастливую ночь, не был, по правде сказать, А э р о ф и к с о м. Конечно, я мог бы описать его во всех подробностях, не исключая самых мельчайших... Мое изобретение настолько важно и просто в то же время, что я предпочел слегка пофантазировать, чем рисковать своей славой из-за необдуманной откровенности. Что вы за люди? Я этого не знал. Конечно, благодаря вам я остался в живых, но, милостивый государь, если факт спасения погибающего доказывает присутствие достойных похвалы чувств, то все же не является гарантией скромности спасителя, ни даже его честности... Подумайте еще о том, что манера вести себя и тон господина де Винез с первого взгляда обрисовывают его типичнейшим фанфароном, что вы прекраснейшим образом могли дать мне неверные сведения о себе и, если даже вы и были теми, кем отрекомендовались, то нет большего сплетника, чем миллиардер, которому некуда девать себя, и большего болтуна, чем журналист, обретающийся вечно в поисках материала для статьи. Ну, сознайтесь, разве я не прав?.. Не сердитесь на меня, милостивый государь, за мою теперешнюю откровенность и тогдашнее притворство: все это было необходимо и вызвано одно другим.

Если вас поразить, — как мне удалось так быстро сочинить свою басню, так как времени для этого у меня, действительно, было мало, — пусть послужит объяснением то обстоятельство, что в основе этого рассказа много правды. Что же касается примеси фантазии, то мне очень трудно было бы самому разобраться, какие обстоятельства во время хода рассказа толкали меня в ту или другую сторону

выдумок. Прежде всего, я многим обязан благословенному случаю, заставившему промчаться над вашей яхтой накануне моего падения метеор, и столь свойственной всем людям — простите меня, многоуважаемый друг, — привычке обобщать аналогичные явления, привычке, которая натолкнула вас на мысль объединить эти два явления. Затем починка руля на «Океаниде» зародила мысль о поломке руля на «Аэрофиксе». То, что вы находились на 40° параллели, тоже дало пищу моей фантазии. Но — курьезное обстоятельство! — на чудесную мысль о путешествии на крыльях ночи меня натолкнула самая незначительная, самая пустая из ваших фраз. Я говорю о вашем рассказе, когда вы называли свои ночные ужины завтраками и обедами...

Разрешите также указать на то, что я не боялся опровержений на борту «Океаниды», в присутствии таких ученых, как сочинитель очаровательных, но легкомысленных рассказов, богатый бездельник и этот восхитительный капитан, господин Дюваль, назвавший материал, из которого был выстроен мой аппарат, алюминиевой дрянью.

Я остановился на Филадельфии, чтобы установить место, необходимое мне для указания начала своего приключения, потому что часто бываю там по делам; я выдал себя за американца, чтобы воспользоваться предлогом трудности говорить на чужом языке, и таким образом, не вызывать подозрений остановками и медлительностью своего рассказа.

Теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, как я догадался, что вы не знаете английского языка?.. Послушайте, ну разве не естественно, чтобы, не получая ответа на обращенные ко мне по-французски вопросы, вы попытались спросить меня на всех языках, которыми хоть немного владеете?.. А между тем, со мной упорно говорили только по-французски...

Вы сами видите, что я был вооружен с ног до головы. Кроме того, я был до того добросовестен, что пил как можно больше виски, чтобы рассказ о бренди был правдопо-

добнее, а для того, чтобы вызвать жажду, я курил, сколько мог... Мои уловки помогли — вы мне поверили.

Но не обвиняйте себя в легкомыслии. И более преудбежденные люди выслушали бы меня без недоверия до конца: ведь в наш век ежедневно случаются вещи, недопустимые с научной точки зрения. Ведь всякий раз, как кошка, падающая с крыши, неизменно падает на свои четыре лапы, эта кошка неизменно нарушает законы о перемещении центра тяжести. Она никак не могла проделать то, что она проделала. — Наука запрещает ей это; точно так же, как закон Ньютона о силе сопротивления ветра запрещает птицам летать.

Итак, не укоряйте себя в доверчивости. И не сердитесь на меня, несмотря на мою вину перед вами. Оцените, что я, чтобы сознаться в ней, даже не подождал того момента, когда мог бы искупить ее полной откровенностью. Это придет со временем. Я пишу вам сегодня только потому, что кончил постройку нового воздухоплавательного аппарата по чертежам и плану № 1, погибшего в море. Нескромные сведения не могут мне теперь повредить. Аппарат готов к полету. Через несколько дней вы узнаете, кто я и что из себя представляет мой аппарат. И когда вы прочтете в газетах восторженные отчеты о моем опыте, тогда... тогда, милостивый государь, вы откажетесь верить своим глазам, потому что вы убедитесь, что действительность превзошла мой рассказ о неподвижном путешествии.

Для вас я приберегу, как подарок, рассказ о своих настоящих переживаниях. Вы сможете воспользоваться ими для того, чтобы сочинить один из самых интересных своих рассказов. Но пока еще придет время проредактировать этот рассказ, я охотно уполномочиваю вас, многоуважаемый и дорогой друг, опубликовать тот маленький роман, который я имел дерзость сочинить в вашем присутствии — конечно, если вы найдете, что он стоит того, чтобы позабавить им читателей.

Я исполнил данное мне поручение.

СТРАННАЯ УЧАСТЬ БУВАНКУРА

СТРАННАЯ УЧАСТЬ БУВАНКУРА

Посвящается Полю Куртуа

За время моего отсутствия из Понтаржи, Буванкур переменил прислугу. Как ни старалась новая горничная убедить меня, что хозяина нет дома, ей не удалось обмануть меня, тем более что я совершенно явственно слышал доносившийся из лаборатории, которая находится в самом конце коридора, — звонкий голос моего друга. Я стал кричать во все горло:

— Буванкур! Эй, Буванкур! Это я — Самбрейль. Прикажите меня впустить! Отмените приказание никого не пускать!

— Ах, милый доктор, как приятно снова встретиться, — раздался громкий голос ученого, кричавшего из-за запертой двери. — Мне ни разу еще так сильно не хотелось пожать вам руку, Самбрейль; но смотрите, до чего не везет — я взаперти еще на полчаса. Сейчас никак не могу впустить вас к себе... Пройдите, пожалуйста, через гостиную ко мне в кабинет, там тоже можно будет беседовать через дверь, но там вам будет удобнее, чем в прихожей.

Расположение комнат его небольшой квартиры мне было давно знакомо. Квартира мне нравилась, потому что ее хозяин был близок моему сердцу; поэтому я с удовольствием приостановился в гостинной в стиле Людовика XV — привычном месте наших бесед — хотя убранство комнаты было претенциозно до банальности. Дело в том, что Буванкур считает себя (и совершенно напрасно) идеальнейшим обойщиком-декоратором; все свое свободное время он употреблял на то, чтобы что-то прибить, передвинуть, убрать драпировками, — и он гордится чуть ли не больше, чем своей славой великого химика, тем, что стулья и консоли исполнены по его рисункам в стиле находившегося здесь «настоящего старинного» камина.

Я растроганно взглянул мимоходом на отвратительное «стильное» убранство гостиной, на грубо сделанную резную мебель, на обманчивую внешность обивки и ковров, цинично притворявшихся настоящими Обюссонами, и мне даже на ум не взбрело оскорбиться, до того я привык к безобразию всего этого.

Но стоило мне войти в кабинет, как смешные притязания Буванкура с новой силой воскресли в моей памяти. Для украшения комнаты он применил невероятно дикий способ: чтобы произвести впечатление большей, чем она была на самом деле, комнаты, он пристроил высокое зеркало у стены, отделяющей кабинет от гостиной Людовика XV. Это подобие двери помещалось как раз напротив настоящей двери; это был как бы мираж двери и напоминал о зеркальном лабиринте в музее Гревен. Громадное зеркало стояло прямо на полу и, для того чтобы вернее ввести в заблуждение, было задрапировано такими же гранатового цвета порттьерами, как окна и двери этой комнаты.

Ах, уж эти мне порттьеры! Я сразу узнал, чьи руки сделали эти узлы, нацепили банты, распределили складки; какой дьявольский обойщик перевил их этими шнурами с кистями на концах. И я застыл в молчании перед этими ужасными ламбрекенами, на которых шнур обвивался замысловатым рисунком вокруг материи — плод старинной и болезненной фантазии.

— Ну что же, доктор! — раздался из-за двери лаборатории заглушенный голос Буванкура. — Где вы? Что же вы не идете?

— Я здесь. Я люблюсь вашим вкусом и познаниями в искусстве декорирования... У вас тут прибавилось зеркало... замечательное...

— Правда? Как вам нравятся порттьеры на нем? Это я сам сделал, знаете? Правда, что кабинет теперь кажется огромным? И шикарным? Не правда ли, что кабинет теперь как-то особенно шикарно выглядит?

По правде сказать, комната, действительно, не лишена была «шика», но, конечно, не из-за тех предметов, которые были туда поставлены для «шика», а по той простой

причине, что была преддверием и дополнением к лаборатории и поэтому служила помещением для целого ряда удивительных приборов всяких размеров, видов, и материалов для работы и демонстраций. Два окна — одно, выходящее на бульвар, другое — на улицу, освещали ее и отражались в стеклянных и металлических подставках, дисках и цилиндрах, блестя разноцветными огнями. На письменном столе лежали в беспорядке груды рукописей, точно брошенные в порыве лихорадочной работы. На черной доске, стоявшей в углу, белели формулы теоремы. В кабинете как бы благоухал химический аромат науки... Я серьезно и искренне ответил:

— Да, Буванкур, да, старый дружище! В вашем кабинете действительно есть шик.

— Простите меня, что я вас так странно принимаю, — снова сказал он сквозь двери. — Сегодня суббота, и мой лаборант...

— Все тот же: Феликс?

— Ну да, конечно, черт возьми!

— Привет! Феликс!

— Здравствуйте, господин Самбрейль!

— Мой лаборант, — продолжал Буванкур, — попросил меня отпустить его пораньше. По воскресеньям он не приходит, а я ни за что не хочу откладывать опыта.

— Значит, опыт очень интересный?

— Необыкновенно важный, мой друг; он завершает целую серию других и должен привести меня к заключению... Я надеюсь сделать довольно хорошенькое открытие...

— Какое?

— Возможность проникновения темного света сквозь предметы, сквозь которые рентгеновские лучи проходят с трудом: стекло, кости и другие... Сейчас мы в полной темноте. Я попробую сделать фотографический снимок, поэтому позвольте мне помолчать несколько минут — это недолго продолжится... — Ну, начинайте, Феликс.

Тут раздалось жужжанье мухи — звук, который производят индукционные катушки, когда их пускают в ход. Их

работало, по-видимому, несколько; каждая из катушек, в зависимости от своего напряжения, издавала особый звук, похожий на жужжание пчелы или трутня, но нельзя сказать, чтобы напевы этого роя были особенно благозвучны.

Этот монотонный шум, нарушая тишину мирного провинциального города, действовал на меня усыпительно, и я, наверное, задремал бы, если бы не шум проходящего по бульвару трамвая, который периодически наполнял своим грохотом всю квартиру, расположенную в первом этаже. Провода трамвая тянулись по улице на уровне окон квартиры; один из кронштейнов для проводов был прикреплен к наружной стене между окнами кабинета и лаборатории, и всякий раз, как трамвай проходил здесь, на месте соединения проволоки с кронштейном выскакивала голубая искорка. От нечего делать я развлекался этим зрелищем.

А катушки продолжали имитировать рой пчел. Промчалось, громохкая, несколько вагонов трамвая. По привычке к исчислениям, я считал, сколько их.

— Ну что же, Буванкур! Скоро ли вы кончите?

Феликс ответил мне довольно уклончиво:

— Немного терпения, господин Самбрейль!

— Ну что же, удачно ли подвигается вперед опыт?

— Великолепно! Мы почти у цели!

Эти слова вызвали во мне безумное желание быть по ту сторону двери, чтобы быть свидетелем, как впервые произойдет новое явление, и полюбоваться видом изобретателя в момент совершения нового открытия. Ведь Буванкур своими открытиями уже отметил несколько дней в календаре Славы. Где-то пробили часы. Я задрожал — час был исторический.

— Ну, послушайте, Феликс, — сказал я жалобным голосом. — Неужели нельзя еще войти теперь? Я изнываю... Ведь уж двадцать трамваев прошло, голубчик, а я...

Больше мне ничего не удалось сказать. От прохождения двадцатого трамвая появилась такая же трещащая и ослепительная искра, как от настоящей небесной молнии и немедленно вслед за этим за дверью лаборатории раздался последовательный ряд взрывов, в промежутке между кото-

рыми я услышал умиротворительное перечисление всевозможных ругательств:

Пиф!

— Проклятье!

Паф!

— Черт его подери!

Пуф!

— Тысячу чертей ему в глотку!

И так далее... Вспышки гнева случались у Буванкура часто, но он в ругательствах был всегда приличен и не кощунствовал. Когда взрывы прекратились, он закричал:

— Придется все начинать сначала!.. Какое несчастье!.. Вот неудача, не правда ли, мой бедный Феликс!..

— В чем дело? Что случилось? — спрашивал я.

— Да в том, что мои круковские склянки взорвались. Вот в чем дело... Я думаю, что нетрудно было бы и самому догадаться...

Понимая, как и из-за чего он расстроен, я замолчал.

Несколько минут спустя я услышал, как отворилась дверь в коридор; по-видимому, Феликс уходил.

Буванкур, наконец, вышел.

— Боже мой, — воскликнул я, — что вы наделали? В каком вы виде?

Увидев его, я сначала опешил. Причина, повергшая меня в такое изумление, выяснилась для меня постепенно.

Буванкур казался покрытым с ног до головы тонким туманом: что-то, похожее с виду на плесень фиолетового цвета, целиком обволакивало его парообразным прозрачным слоем. В комнате удушливо запахло озоном.

На Буванкура это не произвело никакого впечатления.

— Скажите пожалуйста! — сказал он совершенно спокойно. — Это действительно любопытно. Это, должно быть, следы этого проклятого опыта. Ну, это постепенно улетучится.

Он протягивал мне руку, чтобы поздороваться. Цветная оболочка, одевавшая его руку фиолетовой перчаткой, была неосязаема, но, к моему изумлению, сама рука оказалась поразительно дряблой на ощупь. Вдруг мой друг бы-

стро выдернул ее и схватился за грудь, по-видимому, сдерживая сильное сердцебиение.

— Вам нехорошо, голубчик? Вам необходимо отдохнуть. Позвольте, я вас выслушаю.

— Ах, бросьте ребячество, доктор! Это пройдет само собой. Через час не останется и следа — уверяю вас. И, вообще, к черту обманутые надежды, я так рад, что вы вернулись наконец. Будем говорить о чем-нибудь другом, пожалуйста. — Ну, что вы скажете о моей новости?.. Правда, ламбрекен великолепно устроен? А зеркало? Настоящий Сен-Гобен, так-то, старина.

И он подвел меня к своему последнему «шедевру».

Но внезапно мы остолбенели от изумления и ужаса, потом вопросительно взглянули друг на друга, боясь выговорить слово. Наконец Буванкур решился спросить меня дрожащим голосом:

— Нет никаких сомнений, не правда ли? Вы это видите так же хорошо, как и я?.. Там ничего нет?..

— Совершенно верно, — пробормотал я. — Ничего, абсолютно ничего...

Тут, действительно, начинаются чудеса. Я не сумею сказать точно, кто из нас обоих первый заметил это. Но неоспоримым фактом являлось то обстоятельство, что перед зеркалом мы стояли вдвоем, а о т р а ж а л о с ь в з е р к а л е т о л ь к о м о е и з о б р а ж е н и е. Буванкур лишился своего отражения. На том месте, которое оно должно было бы занимать, совершенно ясно было видно отражение стола, а подальше черной доски.

Я был ошеломлен и подавлен. Буванкур начал издавать какие-то нечленораздельные радостные крики. Мало-помалу он успокоился.

— Ну что же, старина, — сказал он, — вот, надеюсь, открытие поразительного значения... и которое я вовсе не рассчитывал сделать. Боже, какая красота — ничего, абсолютно ничего!.. Мой друг, как очаровательно!.. Мой милый, славный, маленький докторчик... Впрочем, должен сознаться, что ни черта не понимаю — причина этого явления мне совершенно непонятна.

— Ваш фиолетовый ореол... — намекнул я.

— Тсс... тише... — сказал Буванкур, — помолчите немного.

Он сел перед зеркалом, не отражавшим его изображения, и стал вслух разбираться в этом явлении, не переставая жестикулировать и смеяться.

— Видите ли, доктор, наполовину я соображаю, в чем дело. По причинам, которых я вам не открою из боязни, что вы меня здорово обругаете, я весь пропитан известным составом (кстати, я был далек от предположения, что он так стоек). Пожалуй, я готов согласиться, что даже чересчур пропитан им, так как мне кажется, что обволакивающей меня дымкой я обязан излишеству находящегося внутри меня состава, который таким путем освобождается из тела.

Мы сейчас открыли, что этот... газ... или свет..., если хотите, обладает непредвиденным могучим свойством. Я предполагал, что он в состоянии проникать сквозь те же тела, что и ультрафиолетовые лучи: мускулы, дерево и тому подобные, кроме того, и сквозь кости и стекло. Конечно, можно найти отдаленные точки соприкосновения между теми свойствами, которые я предполагал, и тем неожиданным явлением, которое мы сейчас наблюдаем... Тем не менее, я не могу понять ... X-лучи, конечно, не отражаются, но все-таки...

— Ведь физика до сих пор не может объяснить секрет отражения, не правда ли? — спросил я.

— Нет. Физика принимает законы отражения, как факт, или, вернее, как результат явления, причины которого плохо поддаются исследованию. Наука просто констатирует факт, не умея точно объяснить источник и происхождение этого явления, перечисляет правила, которым явление подчиняется, и называет эти правила «законами», потому что до сих пор ничто их еще не опровергло. Свет, вызывающий оптические феномены, пока остается загадкой. И этот секрет природы тем труднее открыть, что половина световых явлений, над которыми, заметьте, упорно работают последние годы, недоступна непосредственному восприятию, так как не только, подобно остальным явле-

ниям, неосвязаема, беззвучна, без запаха и вкуса, но и, кроме того — холодна и в высшей степени неясна.

Да, всего несколько лет тому назад все были уверены, что световые лучи отражаются более или менее целиком всеми предметами, никогда ни во что не проникая. Ведь это граничит с черной и белой магией, — вдруг закричал Буванкур, стуча согнутым пальцем по ручке кресла красного дерева, — все эти проникновения лучей сквозь предметы.

И тут же, точно спохватившись, он бросился к зеркалу и приблизил к нему палец, чтобы постучать так же, как по креслу. Но (это вызвало у меня испуганное восклицание) его палец прошел сквозь стекло, точно его опустили в мирную поверхность воды. От проткнутой точки пошли круги и мало-помалу разошлись по всей поверхности этого вертикально стоящего озера, образуя на нем концентрическую рябь.

Буванкур, дрожа, оглянулся на меня. Потом с внезапной решимостью пошел прямо в зеркало и проник в него целиком с легким шелестом раздираемой бумаги. Легкое волнение всколыхнуло и на время обезобразило все отражавшееся в зеркале. Когда волнение улеглось, я увидел фиолетового человека *п о т у с т о р о н у з е р к а л а*. Он весело посматривал на меня и бесшумно смеялся, комфортабельно усевшись в *о т р а ж е н и и к р е с л а*.

Когда я попробовал проделать то же самое, произведение Сен-Гобена, о которое я постучал пальцем, строго и безучастно прозвенело мне в ответ.

Сидя в отраженном кабинете, Буванкур шевелил губами, но до меня не донеслось ни малейшего звука. Тогда он просунул голову сквозь странную перегородку, снова взволновав поверхность зеркала, и сказал:

— Что за странное место: я не слышу собственного голоса.

— Я тоже ничего не слышал. Но не придумаете ли вы другой способ сообщения? Ваши погружения и всплывания лишают меня возможности что-либо видеть, взбаламучивая поверхность зеркала.

— Мне это тоже мешает. Я вижу вас в кабинете так же, как вы меня видите в его отражении с тою разницею, что я, кроме того, нахожусь в обществе вашего отражения.

Голова его вернулась в необычайный мир. Буванкур ходил там по комнате, по-видимому, совершенно свободно, притрагивался к предметам, ощупывал их. В то время как он взял в руки какую-то склянку, я услышал позади себя какой-то звон и, обернувшись, увидел, что настоящая склянка прогулялась по воздуху и сама собой стала на свое место на этажерке. Буванкур вызвал таким образом, проделывая в отраженном кабинете ряд опытов, симметричные движения в настоящем кабинете. Всякий раз, как ему приходилось проходить мимо моего отражения, он старательно обходил его. Один только раз он намеренно толкнул его и я почувствовал, что кто-то невидимый толкнул м е н я.

Проделав ряд таких упражнений, Буванкур остановился у черной доски. Поискав что-то у себя справа, он ударил себя по лбу и нашел с л е в о й стороны губку. Потом, стерев уравнения и формулы, он стал быстро набрасывать мелом свои впечатления. Он писал крупным разборчивым почерком, чтобы мне легче было читать с порога этой заперщенной для меня комнаты. Часто ему приходилось отходить от доски, чтобы произвести исследование, проверить зародившееся сомнение, подтвердить предположение, потом он снова принимался за мел и записывал результат опыта. А сзади меня настоящий мел постукивал по настоящей доске, напоминая работу телеграфиста, и писал с п р а в а н а л е в о обороченными буквами непостижимую тарабарщину.

Буванкур писал следующее (я списывал с доски в свою записную книжку по мере того, как он писал, потому что незначительные размеры доски и крупный шрифт, которым он пользовался, вынуждали его часто стирать с доски написанное):

«Я нахожусь в странном месте. Дышать можно без затруднения. Что это за страна?.. Мы обсудим это впоследствии. Сейчас надо торопиться с наблюдениями.

Все эти двойники существующих предметов в высшей степени вялой консистенции: до того дряблы, что их почти не чувствуешь в руке.

Помещение, в котором я нахожусь, внезапно обрывается там, где кончается поле зрения зеркала. С моей стороны та стена, к которой прикреплено зеркало, кажется туманной плоскостью, в которой виден светлый прямоугольник... туманной и непроницаемой плоскостью... На нее трудно смотреть без жуткого чувства... дотрагиваться еще страшнее... На ней нет шероховатостей, она ни жестка, ни тверда, ни горяча, ни холодна, а просто-напросто непроницаема; я не могу найти подходящего выражения.

Когда я открываю окно, та же непрозрачная ночь окутывает со всех сторон отраженный пейзаж; ее же я нахожу сзади отраженных предметов и тоже сзади вашей записной книжки, доктор. Ваш двойник разделен на две части: та сторона, что глядит в зеркало, представляет копию с вас, а другая сторона кажется силуэтом, состоящим из этого ужасающего мрака. Линия, разделяющая эти обе части, вполне определена и точна, и, когда вы поворачиваетесь на месте, эта линия остается неподвижной, точно вы в темноте поворачиваетесь перед горящим камином, так что все время освещена только половина фигуры, а остальное в тени.

Нашатырь потерял запах.

Жидкости не имеют вкуса.

Рамсденовская машина дает подобия искр, но бездеятельных!»

На этом месте я его прервал. Я хотел сообщить Буванкуру пришедшие мне в голову сомнения и предположения относительно того, что должно было бы произойти в зеркалах, поставленных под углом или помещенных на потолке или на полу, хотел сказать, что, по моему мнению, необходимо было бы проделать опыты с тяжестями и весом во всех этих случаях и даже в данном случае это не мешало бы сделать. С этой целью я пошел стереть с доски. Это заняло несколько секунд времени. Я начал было писать свое предложение на доске, как вдруг мел с силою

вырвался из моей руки и стал выводить большими, не-искусными, дрожащими буквами с л е в а н а п р а в о в н о р м а л ь н о м п о р я д к е — признак того, что ученый писал наоборот и стремился, чтобы его поняли без замедления, моментально: — «н а п о м о щ ь». В то же время рядом со мной стало вырисовываться туманное изображение человеческой фигуры с мелом в руке.

Я бросился к зеркалу, Буванкур устремился ко мне навстречу. Его лоб был в крови. Он со всего размаху ударился о зеркало, так что оно должно было бы разбиться. А, между тем, оно не осталось бы целее, даже если бы было из гранита. Оно снова сделалось страшно крепким и непонятно непроницаемым для всего того, что находилось по ту сторону его. Голова моего друга оросилась кровью от новой раны и я сообразил, что он уже делал попытку выбраться оттуда за то короткое время, что я не смотрел в зеркало. Фиолетовое облако испарилось, и мой несчастный друг, покинутый своей оболочкой, по-видимому, необходимой для жизни в этой таинственной атмосфере — подавал признаки все увеличивавшейся асфиксии,

Он еще несколько раз бросался на эту непреклонную перегородку и только ушибался об нее. Но страшнее всего было постепенное появление е г о и з о б р а ж е н и я с м о е й с т о р о н ы. Я увидел второго, окровавленного, близкого к сумасшествию, чудовищного Буванкура, и оба безумца все время бросались друг к другу, сталкиваясь окровавленными руками, лбами, с искаженными ужасными гримасами ртами, причем до меня не долетало ни звука, хотя, по-видимому, они кричали и звали на помощь; с одинаковым выражением отчаяния на лицах и с одинаковыми беспорядочным жестами и одинаково безрезультатно они бились, каждый со своей стороны, о зеркало.

Не отдавая себе хорошенько отчета в том, что я делаю, может быть, инстинктивно, я попытался увлечь отражение Буванкура, находившееся с моей стороны, в лабораторию. Но, достигнув поля зрения зеркала, это воображаемое существо столкнулось с непреодолимым препятствием: эта граница разрезала вкось широко открытую дверь и была

для двойника моего друга более прочной преградой, чем гранитная стена. Я тащил и толкал его со всей силы сквозь эту бесплотную помеху, которую мне не удавалось воспринять, но тщетно — он не мог продвинуться ни на йоту. Двойник находился в полной зависимости от настоящего тела Буванкура, а оно — я позабыл было об этом — было пленником той, сказочной области.

А между тем, надо же было на что-нибудь решиться, предпринять что-то! Двойник задыхался у меня на руках. Что делать?.. Я положил его на ковер — там, в глубине зеркала Буванкур тоже растянулся на отражении ковра: он лежал, покрасневший, с закрытыми глазами.

Тогда я решился. У камина в гостиной стояли таганы — тяжелые каминные таганы XVIII века. Я бросился к камину и схватил один из них.

С первого удара зеркало звездообразно треснуло, скоро оно было разбито вдребезги. За ним показались обои и таган ударился о каменную кладку стены. Я оглянулся: отражение Буванкура исчезло.

Вдруг я услышал женский крик в гостиной. Я бросился туда и натолкнулся на горничную, прибежавшую на шум.

— Ну что, чего вы кричите?.. Что с вами? — спросил я, вбегая.

К моему глубокому изумлению, она указала мне на тело своего хозяина, распростертое на полу. Ножка консоли, стоявшей на своем месте, пробила ему бедро насквозь.

Я категорически утверждаю, что за минуту до этого, когда я входил в гостиную за таганом, там абсолютно никого не было.

Мой друг был жив и пришел в себя после того, как я применил ряд мер, — как ритмическое вытягивание языка и другие, — применяемые для искусственного возбуждения дыхания. Но мне пришлось тянуть изо всех сил — и то еле-еле удалось вытащить, — кусок дерева, засевший в бедре Буванкура. После того, как мне удалось это сделать, осталась удивительно ровная рана, проникшая в мускулы бедра и не задевшая бедренной кости — по правде сказать, рана не заслуживала, чтобы ее так называли —это скорее

можно было назвать дырой, края которой не сохранили даже следа удара. Следовательно, нельзя было предположить, что консоль вонзили в бедро, тем более, что она ни на миллиметр не была сдвинута с места. Получилось впечатление, точно бедро обволокло ножку консоли, как гипс облегает форму, — впрочем, может быть, оно так на самом деле и было.

Но мне некогда было тратить время на размышления и выводы — Буванкур очень нуждался в моих услугах.

А между тем он чуть не умер — вовсе не от раны на бедре, а от язв, которыми он покрылся, и от странных внутренних ожогов, от которых он так и не вылечился, должно быть. Он заболел самым типичным из встречавшихся в моей практике общим воспалением кожи, сопровождавшимся выпадением волос и ногтей, словом — это общеизвестно — всеми явлениями, наступающими после продолжительной темно-световой ванны, которые мне пришлось наблюдать до этого у пациентов, подвергшихся неосторожному фотографированию при помощи радия. И, действительно, Буванкур признался, что сделал опыт сфотографировать железный канделябр сквозь свое тело плюс пласт стекла; впрочем, этот опыт не удался, как я описал в начале моих записок, и послужил точкой отправления этого приключения. «Я приготовил свои электроды, — сказал он, между прочим, — из сплава радия и платины». Он постоянно говорил со мной об этом, прикованный болезнью к кровати, проклиная ее, так как болезнь лишала его возможности предаваться научным изысканиям и опытам и, следовательно, мешала ему найти объяснение загадки.

Стремясь успокоить его во что бы то ни стало, я часто перечитывал ему свои заметки, переписанные с доски в з е р к а л е, и доказывал ему необходимость объединить и связать наши впечатления воедино, чтобы, основываясь на них, выработать строго логичные заключения, которые дали бы нам возможность прийти к наиболее правильным выводам. Надеясь подкрепить наши предположения, я в поисках доказательств произвел тщательное исследование места, где развернулись вышеупомянутые события, думая

найти новые факты. Я удостоверился только в одном, прежде незамеченном мною обстоятельстве: консоль в гостиной находилась симметрично — по отношению к отражению в разбитом мною зеркале — на том самом месте, куда я положил в кабинете отражение Буванкура.

Я рассказал об этом моему другу.

— Приходилось ли вам видеть, — спросил он меня, — фокус, который фабриканты волшебных фонарей называют «испаряющиеся пейзажи»?

— Да, — ответил я, — им пользуются для замены на экране одного вида другим. Получается это при помощи двух прожекторов: медленно закрывают один, открывая в то же время другой.

— Значит, если я не ошибаюсь, — продолжал Буванкур, — есть такой момент, когда оба изображения о д н о в р е м е н н о видны на экране и покрывают друг друга: например, мачты корабля вдруг видны среди окон и дверей дома...

— Ну так что?.. — сказал я, — какое отношение...

— Представьте себе, — снова заговорил он, — что первый прожектор бросает на экран мой портрет, а второй изображение консоли в стиле Людовика XV... Мне кажется, что это довольно ясно воспроизводит случай со мной, когда вы разбили зеркало... Особенно если предположить, что консоль фотографировали в гостиной, а вашего покорного слугу в кабинете...

— Ничего это не объясняет.

— Пусть будет по-вашему. А все-таки, с другой стороны, все, что с нами произошло, заставляет нас предположить, вопреки здравому смыслу, что в поле отражения зеркала с з а д и него существует какое-то неведомое нам пространство...

— Но послушайте, — возразил я, — где же, по-вашему, оно находится — это ваше помещение... как его назвать... ну, временное, что ли? В данном случае отраженный кабинет занимал место гостиной...

— Ну да, это так... совершенно верно, — сказал Буванкур.

— Но подумайте, Буванкур, ведь гостиная все-таки остается гостиной. Ведь допустить возможность помещения двух различных вещей на том же самом месте одновременно — сумасшествие.

— Гм, — промычал он с гримасой. — Сумасшествие!.. Прежде всего, ведь существуют же испаряющиеся пейзажи... А кроме того, ведь мы-то живем только в пространстве и во времени, а между тем мы с ними не знакомы как следует. Ведь понятия бесконечность, вечность — непостижимы. Что же, вы берете на себя смелость утверждать, что знаете во всех подробностях частицу того, чего вы ц е л и к о м совсем не знаете? Убеждены ли вы, что два предмета м о г у т существовать одновременно? У в е р е н ы ли вы, что они не могут занимать одно и то же место в одно и то же время? В конце концов, я занимаю, — сказал он, иронически улыбаясь, — своим телом одновременно и место больного и место избирателя, не считая других мест...

Я вздохнул свободнее, ясно разобрав, что он шутит, и разговор принял другое направление. Да к тому же только опыты могли помочь нам разобраться в этом событии, настолько странном, что по временам меня охватывало сомнение, так ли на самом деле произошли события, как мне казалось, когда я присутствовал при них.

Еле оправившись, с не совсем зажившей раной на бедре, бледный от всех перенесенных страданий, Буванкур ревностно принялся за исследования. Опасаясь болтливости, он отпустил Феликса, которого я с грехом пополам замещал, и принялся за работу.

Надо сказать правду сейчас же: временное помещение, как мы называли его в отличие от п о с т о я н н ы х п о м е щ е н и й, ни разу больше не сделалось нам доступным. Индийские морские свинки, которыми мы пользовались из предосторожности, околевали от самых разнообразных заболеваний: одни теряли волосы, другие покрывались язвами, у третьих вываливались когти, многие от непонятных и таинственных припадков; три свинки погибли от молнии, когда Буванкур, после целого ряда неудач, искусственно воспроизвел искру; одну он убил сам, когда в бе-

шенстве насильно втискивал ее в зеркало. Ничем не удавалось породить в них знаменитую фиолетовую прозрачность.

Я отказался от дальнейшего производства опытов, но Буванкур продолжал их.

— Вы напрасно это делаете, — сказал он мне. — У меня есть идея... Свет не клином сошелся на стеклянных зеркалах... Существуют другие вещества, тоже снабженные отражательными свойствами и легче проницаемые...

Бедный старый Буванкур! С каким ожесточением он продолжал свою погоню за химерой! Сколько он проявил неустрашимости и до чего утомлял себя! Под страхом смерти, я назначил ему строжайший режим. Он не только не подчинялся ему, но, наоборот, постоянно подвергался действию всяких вредных реактивов, которые однажды уж чуть не убили его. С грустью я замечал, как с каждым днем цвет его лица становился все желтее, голова все лысела, а спина все больше и больше закрутлялась. Болезненные явления повторились, он был ужасен на вид и сознавал это. Совсем недавно он мне сказал, что, когда добьется своей цели, то не столько будет рад открытию, как тому, что не придется больше смотреться в зеркало. «Но терпение», — добавил он, — «осталась всего неделя или две, и академия наук узнает кой-какие новости».

Вчера, на заре, лодочник нашел на бечевнике странные приборы. Когда он их принес в участок, проницательный комиссар решил, что это «химические инструменты». Отправились к Буванкуру, чтобы получить от него более точное определение, что это за инструменты. Там узнали, что он исчез из дому накануне вечером...

Его вытащили из канала... «Существуют другие вещества, тоже снабженные отражательными свойствами и легче проницаемые».

Одни утверждали, что он утопился, предварительно наэлектризовав себя из предосторожности. Другие прибавляли с многозначительным видом, что «должно быть, его горничная сыграла тут какую-нибудь роль». «Он покончил с собой, — было напечатано в газете “Эхо Понтаржи”,

— из-за неизлечимой болезни, которой он заболел, производя опасные опыты». Кто-то с очаровательной улыбкой сказал мне: «Ну да, холодный свет довел его до сумасшествия».

Один только я знаю истину.

Я ясно представляю себе Буванкура на берегу канала ночью. Он опускает столбик цинка в кислоту. Катушка Румкорфа начинает жужжать, как пчела, стеклянная трубка испускает фосфоресцирующий свет... Ему кажется, что таинственный свет обволакивает его, в глубине воды он видит опрокинутое отражение залитого лунным светом мирного пейзажа... Он видит это в р е м е н н о е п о м е щ е н и е, куда ему можно проникнуть, чтобы насладиться еще более спокойным лунным светом, еще более мирным пейзажем...

И вот он опускается туда, не зная, какими законами тяжести управляется тот мир, — рискуя погибнуть в бездне небесной тверди, отверстой у его ног...

Он опускается туда... Но он оказывается в п о с т о я н н о м п о м е щ е н и и, в данном случае — в воде, в тяжелой воде, в которой человек еще не научился жить, в воде эпилогов, молчание которой завершает столько приключений — в воде забвения и конца.

«Необычайные рассказы» М. Ренара были впервые изданы М. Г. Корнфельдом в Петербурге в 1912 г. (в серии «Библиотека “Синего журнала”»). Книга публикуется по этому изданию в новой орфографии, с исправлением опечаток, некоторых устаревших особенностей правописания и пунктуации и ряда устаревших оборотов. Подстраничные примечания – из издания 1912 г.

Оглавление

Свидание	8
Каникулы господина Дюпона	41
Партенопа или неожиданная остановка	115
Христианская легенда об Актеоне	138
Неподвижное путешествие	149
Странная участь Буванкура	198

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.